ДМИТРИЙ АКУЛИЧ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

РАЗГОВОР С СОБОЙ



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Разговор с собой

Дмитрий Акулич

ПОСВЯЩЕНИЕ

Как-то моя жена сказала мне одну вещь. Она вообще много говорит, но вот это я даже записал в блокнот:

— Как ты смеешь иметь дар написать что-то и не поделиться этим с другими? Это же несправедливо!

* * *

Так пришла мысль собирать написанное, дабы позже поделиться, ибо действительно, не честно как-то... Спасибо тебе за импульс, дорогая!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление
1. Два слова
2. М и М
3. В дорогу
4. Бояться не буду
5. Миры
6. Гений свободы
7. Почемучки
8. Вы
9. Приглашение в гости
10. Страхи
11. Батискаф
12. Горы
13. Прошу, уймись
14. Декабрь
15. Тюрьма
16. Живём вчера
17. Там, за облаками
18. Чаша
19. Разговор с братом
20. Знакомство
21. Старость
22. Сансара
23. Вечный дух
24. Наши любимые
25. Сон
26. Цикл
27. Вдохновение
28. Не стройте замков из песка

29. Счастлив
30. К бабушке
31. А у неба есть руки тоже

ВСТУПЛЕНИЕ

В детстве меня поразила идея фильма «Назад в будущее». Мне казалось, что путешествие во времени возможно только благодаря машине, вспышке молнии и точному расчёту скорости. Спустя годы я неожиданно обнаружил, что оно действительно существует. Просто выглядит совсем иначе.

Когда-то мне казалось, что эта книга станет просто сборником стихотворений. Потом я понял: стихотворения — лишь часть истории. Фотография способна сохранить лицо человека, место, свет, мгновение. Но она почти никогда не рассказывает, что происходило внутри. О чём человек думал. Чего боялся. На что надеялся. Почему именно этот момент ему захотелось сохранить.

Наверное, именно поэтому когда-то появились эти стихи. Я писал их много лет, по одному, в разные периоды жизни. Каждый раз мне казалось, что я пишу о ком-то другом — о женщине, о брате, о Боге, о толпе, о мире вокруг. На самом деле стихи никогда не были попыткой описать события. **Они стали звуком тех фотографий, которые жизнь успела сделать задолго до этой книги.** Тем, чего не может передать ни один снимок.

Перечитывая их спустя годы, я понял: почти все они были адресованы мне. Не тому, кем я был в момент, когда писал. А тому, кем мне только предстояло стать. Молодой я, сам того не зная,

оставлял себе письма.

Спустя годы я решил вернуться к этим строкам. Но не для того, чтобы объяснить читателю, что я тогда имел в виду. Мне самому захотелось встретиться с человеком, который их написал.

Так появились вступления. Они возвращают обстоятельства, запахи, людей и места, из которых родились эти стихи.

Потом появились диалоги. Не комментарии к тексту, а разговор двух версий одного человека. Одного, который ещё ничего не знает о будущем. И другого, который наконец может оглянуться назад и попытаться понять, почему всё произошло именно так.

Поэтому эта книга — не сборник стихотворений с комментариями. **Это попытка восстановить связь между собой прошлым и собой сегодняшним.**

За этими стихами стоит обычная жизнь: семья, развод родителей, отношения, смерть близких, переезды — Польша, Вьетнам, — поиски себя, музыка, вера, психотерапия, спорт. Всё это в книге есть. Но как фон, а не как сюжет. Настоящее путешествие происходит не между странами.

Я не буду ничего объяснять заранее. Эта книга вообще устроена на намёке, а не на разъяснении, и вступление не исключение. Скажу только одно: то, что дальше выглядит как стихи и разговоры после них, — на самом деле разговор одного человека с

самим собой в разное время его жизни.

А если где-то на следующих страницах вам встретятся старые фотографии, знайте: они здесь не для того, чтобы проиллюстрировать историю. **Скорее наоборот. История нужна для того, чтобы однажды эти фотографии наконец зазвучали.**

Первое письмо уже ждёт.

ГЛАВА 1

Два слова

Я долго думал, с чего вообще начинается конец отношений. Не громкий скандал. Не измена. Не хлопнувшая дверь. **Мне казалось, всё начинается намного раньше — с того момента, когда между двумя людьми перестают звучать самые простые слова.**

Мы прожили вместе много лет. Если смотреть со стороны, всё выглядело вполне обычно: работа, дом, планы, поездки, разговоры. Но внутри постепенно возникало ощущение, что мы всё чаще разговариваем о жизни, а не друг с другом.

После расставания прошёл год. Целый год мы почти не общались. А если и общались, то либо грубо, либо через адвоката.

Я тогда очень хотел понять, что вообще произошло. Не найти виноватого. Не придумать красивое объяснение. Просто разобраться, в какой момент два человека перестали слышать друг друга. И чем больше я пытался ответить на этот вопрос, тем чаще возвращался к одной мысли: может быть, всё это время нам не хватало всего двух слов. Не каких-то особенных. Не волшебных. Просто тех, которые человек говорит не потому, что обязан, а потому, что иначе уже невозможно.

Мне тогда казалось, что стихотворение именно об этом. Сейчас я уже не уверен. Но именно тогда

оно родилось.

— — —

Два слова

Хочу сказать так много и так громко,
Но ураганом мыслей вырвало слова.
Их бросило подальше бешеной воронкой.
Стоять остались самых крепких два.

Они на пару и лавину, и цунами,
Вулкана извержение и сам Армагеддон,
И мир, несокрушимый над тремя слонами,
Без лишних слов перевернут вверх дном.

Они сакральны, а не просто модный слоган,
Побивший чарты популярнейших частот.
Они, как две слезы, пророненные Богом,
Очистят души тех, кто их поймёт.

— — —

Долгое время мне казалось, что я понимаю эти строки.

— Правда?

Я даже не сразу понял, кто задал этот вопрос.

— Конечно.

— Тогда назови эти два слова.

Я улыбнулся. Вернее... улыбнулся он. Тот, кто когда-то написал это стихотворение.

— Тогда мне казалось, что знаю.

— А сейчас?

— Сейчас тоже знаю.

— Так почему не скажешь?

— Потому что тогда исчезнет всё стихотворение.

Он нахмурился.

— Не понял.

— Если назвать их слишком рано, читатель перестанет искать собственные. А ведь, может быть, его два слова совсем не совпадут с моими.

Он задумался. Похоже, этот ответ его не устроил.

— Значит, ответа нет?

— Есть. Но он не обязан быть одинаковым для всех.

Мы оба некоторое время молчали. Странно. Я вдруг понял, что он всё ещё смотрит на эти строки как на попытку сохранить отношения. А я уже видел в них совсем другое.

— Знаешь…

— Что?

— Мне кажется, ты писал совсем не ей.

— В смысле?

— Ты писал человеку, которого сам тогда потерял.

Он долго смотрел на меня.

— Себе?

— Да.

— Тогда почему я этого не видел?

— Потому что некоторые стихотворения рождаются раньше, чем приходит способность их понять.

Он опустил глаза. Потом тихо спросил:

— Значит… всё это время я пытался вернуть не её?

— Её тоже. Но гораздо сильнее ты пытался вернуть самого себя.

Снова повисла тишина.

— И всё-таки… какие они? Те самые два слова.

Я посмотрел на него и неожиданно улыбнулся.

— Не сегодня.

— Почему?

— Потому что если сейчас назвать мои, читатель может так и не успеть найти свои. И мне кажется, это будет несправедливо.

Когда я писал это стихотворение, мне казалось, что оно посвящено отношениям. Теперь я думаю иначе. **Любые отношения однажды становятся разговором человека с самим собой.** Другой может уйти. Может перестать любить. Может никогда не понять тебя до конца. Но встреча с собой не заканчивается.

Я так и не спросил его до конца: а если бы он всё-таки назвал эти два слова сейчас — узнал бы я их?

ГЛАВА 2

М и М

В очередной раз перечитав «Мастера и Маргариту», я закрыл книгу с привычным ощущением: кажется, теперь-то всё понял. Увидел связи, которых раньше не замечал, разобрался в героях, нащупал главную мысль.

И почти сразу вспомнил бабушку. Когда-то, после первого прочтения, я спросил её, о чём на самом деле эта книга. Она закурила, уселась поудобнее, посмотрела куда-то в потолок — и я сразу понял, что ответа в двух предложениях не будет.

— Я перечитываю её каждые три, четыре, пять лет, — сказала она. — И каждый раз мне кажется, что я наконец что-то поняла. А потом читаю снова и понимаю, что ничего не понимаю.

Эта фраза осталась со мной. Наверное, поэтому, когда спустя годы мне вновь показалось, что теперь я точно разобрался в Булгакове, рядом с уверенностью сразу возникло сомнение. Может быть, очередное понимание — лишь новый слой? Может быть, книга потому и остаётся живой, что не позволяет однажды поставить в ней точку?

Сначала я назвал стихотворение прямо — «Мастер и Маргарита» или даже «Мастера и Маргариты». Потом убрал почти всё и оставил только две буквы: «М и М». Мне хотелось, чтобы

название ничего не объясняло заранее. Чтобы читатель вошёл в текст, не зная, что именно скрывается за этими буквами, и лишь в последней строке получил ключ — но не готовый ответ.

В то время меня занимал не столько сюжет романа, сколько люди вокруг него. Почти все читали эту книгу в школе или позже. Многие перечитывали, смотрели экранизации, запоминали реплики. Во время застолий всегда находился человек, готовый блеснуть знанием Булгакова. Но мне всё чаще казалось, что факт прочтения стал важнее самого чтения. **Книга превратилась в культурный знак, в подтверждение собственной образованности.** Ею можно было щегольнуть, не задавая себе вопроса, почему она вообще написана и что в ней до сих пор касается лично тебя.

Меня интересовал Воланд. Не как дьявол и не как эффектный персонаж, которого сыграл Басилашвили, а как тот, кто всматривается в людей и пытается отыскать среди них хотя бы немного личностей. Не обязательно великих, знаменитых или богатых. Хотя бы тех, кто понимает собственную природу, слышит своё призвание и идёт за ним, несмотря на лишения, страх и возможность внезапной смерти.

Мастер получает свой личный покой не за положение в обществе. Он хотя бы попытался создать то, что не мог не создать. Прошёл через страх, отказ, разрушение — но в какой-то момент

всё же оказался человеком, который сделал выбор. А вокруг меня развелось множество новых «мастеров» и «маргарит», охотно примеряющих на себя красивые имена, но почти не способных сделать что-либо настоящее.

Тогда я ещё охотнее смотрел наружу, чем внутрь. Проще было заметить чужую пустоту, чужое лицемерие, чужую готовность прятаться от происходящего за книгами, экранами, разговорами и стенами собственной квартиры. Но даже тогда я, кажется, понимал: если поставить себя за пределами описанного мира, стихотворение окажется ложью. Я тоже был его частью. Тоже мог усесться под крышей, вкусно поесть, закрыться от происходящего и рассуждать о высокой литературе. Тоже мог принять знакомство с великим произведением за доказательство собственной глубины.

Я не хотел перечислять всё, что происходит с нами. Мне казалось, достаточно показать закрытую квартиру, монитор, жалюзи, маршрут между кухней и туалетом, непрерывный поток того, чем нас кормят. А затем задать вопрос. Не в начале — там он прозвучал бы слишком прямо. В конце, когда читатель уже немного освоится в этом мире и, возможно, не сразу поймёт, что всё это время речь шла не о ком-то постороннем.

Так появилось стихотворение.

— — —

М и М

Сегодня многим жизнь страшнее смерти,
А вместо ангелов вокруг летают черти.
Энергию черпаем из экрана монитора,
От солнца прячемся за жалюзи и шторой.

Нам нынче спёртый тлен апартаментов
Маршрут диктует: кухня — туалет.
Поток асоциальных экскрементов
Нам подают на завтрак, ужин и обед.

Ну да, война, а что, не заслужили?
От лицемерия давным-давно тошнит.
И справедлив герой Басилашвили —
Эх, развелось и Мастеров и Маргарит.

— — —

Я перечитал эти строки спустя годы. Они не изменились, но голос, которым были написаны, теперь звучал откуда-то издалека. В нём было больше уверенности, больше раздражения и, пожалуй, больше готовности судить. Но назвать его чужим я не мог. Более того, некоторые его вопросы по-прежнему оставались моими.

Стоило задержаться на последней строке, как между нами начался разговор.

— Ты действительно думал, что понял Булгакова?

— Да. Как обычно бывает после хорошей книги: закрыл её и некоторое время уверен, что теперь видишь всё целиком.

— А слова бабушки тебя не остановили?

— Остановили. Но не настолько, чтобы отказаться от уверенности. Скорее оставили в ней трещину.

— Поэтому ты и убрал полное название?

— Не только. Мне хотелось, чтобы читатель не получил произведение Булгакова раньше, чем доберётся до последней строки. Чтобы «М и М» сначала могли означать что угодно.

— Но ты ведь всё равно подводишь его к определённой мысли.

— Подвожу. Но не хочу тащить туда силой.

— В стихотворении довольно мало мягкости.

— Потому что я был зол.

— На людей, которые щеголяют прочитанными книгами?

— И на них тоже.

— А на себя?

Молчание.

— Сейчас я понимаю, что да. Иначе строка о войне была бы нечестной.

— «Не заслужили ли?» звучит опасно. Будто ты говоришь, что люди заслуживают смерть.

— Нет. Я не говорил о конкретных людях и не оправдывал войну. Речь о накопленном лицемерии, безразличии, добровольном отказе замечать происходящее. О мире, который долго притворяется, что ничего страшного нет, а потом удивляется последствиям.

— Но ты сам сидел в этом мире под своей крышей.

— Именно. Я не стоял над ним. То, что мы усадили задницы и вкусно едим в тени собственной крыши, — лишь база. Поэтому вопрос относится и ко мне. Наверное, прежде всего ко мне, иначе я просто назначил бы себя судьёй.

— Тогда почему ты не объяснил всё это в стихотворении?

— Потому что объяснение закрыло бы вопрос. Мне хотелось, чтобы читатель дошёл до него сам.

— А если он поймёт иначе?

— Значит, поймёт иначе. Возможно, глубже, чем я. Автор не обязательно знает всё, что написал.

— Тогда зачем вообще рассказывать эту историю сейчас?

— Не для того, чтобы отменить чужое прочтение. Я могу рассказать, из чего вырос текст. Но не могу объявить, чем он обязан стать для другого человека.

— Получается, ты искал читателя, который согласится немного побыть внутри непонимания?

— Да. Не того, кто сразу согласится со мной. Того, кто хотя бы отважится подумать.

— Нашёл?

— Почти никого.

— «Почти» — это мало.

— Нет. «Почти» — это уже не «никого». Для меня это огромный успех.

— А Воланд? Ты говорил, что он искал личности.

— Тогда мне так казалось.

— А сейчас?

— Сейчас я думаю, что их искал я сам.

— Нашёл?

— Иногда. В других. Иногда — в себе. Но каждый раз, когда мне кажется, что окончательно нашёл, я вспоминаю бабушку.

— И понимаешь, что ничего не понимаешь?

— Понимаю, что придётся перечитать ещё раз.

Это стихотворение родилось на пересечении уверенности и сомнения. Молодому мне казалось, что я понял Булгакова и увидел болезнь окружающего мира. Нынешний я замечаю другое: текст оказался направлен не только наружу.

Знание книг, сюжетов и цитат не делает человека личностью. **Личность начинается там, где прочитанное превращается в вопрос к собственной жизни.**

Я закрыл книгу и поставил её обратно на полку — туда же, где она стояла все эти годы, только теперь чуть теснее среди остальных.

ГЛАВА 3

В дорогу



Иногда мне кажется, что некоторые строки рождаются не в тот момент, когда ложатся на бумагу. А раньше. Или позже. Ты можешь годами помнить смысл стихотворения и быть совершенно уверенным, что знаешь, откуда оно взялось. А потом однажды начать о нём говорить — и вдруг вспомнить совсем другое.

Именно так произошло с этим текстом. Сначала мне казалось, что он о поиске, о религиях, о духовности, о попытке разобраться, что скрывается под красивыми словами и готовыми ответами. Но чем дольше мы разговаривали, тем

отчётливее память вытаскивала совсем другой день.

Я продавал квартиру. Мы решили уехать во Вьетнам. Почти вся жизнь, которую мы так долго строили, постепенно исчезала из дома.

Первым я снял со стены телевизор. Большой. Красивый. Пятьдесят пять дюймов. Когда-то я долго выбирал его, искал нужную модель, прикручивал кронштейн, несколько раз перемерял высоту, чтобы он висел идеально ровно.

А потом вдруг поймал себя на простой мысли: «Какой же я дурак… Я ведь его почти не смотрю». Я стоял посреди пустеющей квартиры и смотрел на предмет, который когда-то казался важной покупкой. И вдруг понял, что дело вообще не в телевизоре. **Сколько ещё таких вещей в моей жизни? Сколько решений я принял просто потому, что так принято?** Сколько целей оказались красивыми только снаружи?

Именно тогда мне впервые захотелось задать себе вопрос, который позже оказался в стихотворении. Не «что правильно?» А «что настоящее?»

— — —

В дорогу

В красоте иллюзорной реальности
Мы всё дальше и дальше от истины.
Между стенами всё той же крайности.

Их пробить только мудрыми мыслями.

Где их взять? В темноте телевизора?
В его дюймах экрана огромного…
Кто в аптеку с рецептом к провизору,
Кто-то в поисках места укромного

Созерцает свой мир в безмятежности,
Пряча взор от наружного хаоса.
Нам божественной хочется нежности
И поменьше зловонного пафоса.

Заиграйте, дожди-барабанщики,
По натянутым нервам водицею.
Чтоб покинули мысли-обманщики,
Разум травящие небылицами.

Каждодневные чувства привычные
И идущие вслед пожелания,
Бесконечные и неприличные —
Мне невмочь слышать ваши стенания!

Километры тропинок нетоптаны…
А я тут, у родного порога.
Все сомнения, как шарики, лопнуты —
И опять отправляться в дорогу…

— — —

Я ещё какое-то время смотрел на последнюю строчку. «И опять отправляться в дорогу…»

— Поехал?

Я улыбнулся. Вернее… улыбнулся он.

— Конечно.

— Страшно было?

— Очень.

— Но ты всё равно продал квартиру.

— Да.

— Телевизор тоже?

Я рассмеялся.

— Представляешь, именно с него всё почему-то и началось.

Он удивлённо посмотрел на меня.

— С телевизора?

— Нет. Мне тоже долго казалось, что с телевизора. На самом деле — с ощущения, что жизнь стала похожа на него. Большая. Красивая. Правильно закреплённая на стене. И почти всегда выключенная.

Он долго молчал. Потом тихо сказал:

— Значит, стихотворение не о дороге?

— О дороге. Но не той, по которой едут.

— Тогда о какой?

Я задумался.

— О той, на которую человек решается только тогда, когда перестаёт верить, что внешний порядок обязательно означает внутреннюю жизнь.

Он кивнул. Кажется, впервые за весь разговор не пытаясь ничего возразить. Потом спросил:

— И как? Стоило?

Я посмотрел куда-то мимо него — туда, где уже были Вьетнам, Бали, горы, море, люди, которых тогда ещё невозможно было представить, все разговоры, которые ещё только предстояли. И улыбнулся.

— Если бы не тот день… Мы бы сейчас вообще не разговаривали.

Он тоже улыбнулся. И впервые за всё время мне показалось, что он перестал искать окончательный ответ. Потому что понял главное. **Иногда достаточно просто снять телевизор со стены.**

Долгое время мне казалось, что это стихотворение посвящено поиску истины. Теперь я думаю иначе. Оно родилось в тот момент, когда я перестал цепляться за прежнюю жизнь.

Самое удивительное, что я понял это не тогда, когда писал. А много лет спустя — во время разговора о собственном тексте. Наверное, память устроена именно так. Она не выдаёт всё сразу. Она ждёт правильного вопроса. И только потом открывает дверь, о существовании которой ты сам давно забыл.

ГЛАВА 4

Бояться не буду

Странная вещь происходит с памятью: она почти никогда не возвращает сначала главное — сначала возвращаются обстоятельства. Вспоминается страна, переезд, проданная квартира, новая жизнь во Вьетнаме, страх потерять работу, попытки найти дело, которое однажды стало бы профессией. Кажется, что именно это было самым важным. Но стоит поговорить ещё немного — и оказывается, что всё это было лишь декорациями. **Настоящий разговор происходил совсем в другом месте — внутри.**

Я тогда много думал о своих ошибках: о людях, которых любил не так, как хотелось бы теперь, о случайных связях, о марихуане, которая иногда становилась способом убежать не столько от мира, сколько от самого себя, о бесконечных попытках найти ответ во внешнем. И удивительно, что сейчас, спустя годы, я почти не хочу спорить с тем человеком. Раньше мне казалось, что он должен был поступать иначе. Теперь я думаю иначе: если бы не он, меня сегодняшнего тоже не было бы.

Наверное, именно поэтому это стихотворение начинается не обещанием стать лучше, а обещанием перестать бояться.

— — —

Бояться не буду…

И пусть одиночество поедом ест —
Я больше бояться не буду.
Не буду тащить опостылевший крест
Бездумно, подобно верблюду.

Мечтаю осмыслить, что вместе со злом
Добро в равноправном движении
Следит, чтоб товарища задним числом
Никто не ругал в раздражении.

Хотелось бы верить, что сотни божеств
Не смотрят с ехидной улыбкой
На этих безумных и грубых существ
И их не считают ошибкой.

Надеюсь, когда-нибудь мне надоест
Желать постоянного чуда.
И пусть одиночество поедом ест —
Я больше бояться не буду.

— — —

— Я долго не понимал одну строфу.

Он поднял голову.

— Какую?

— Про добро и зло.

— А что с ней?

— Мне казалось, что она философская, что ты рассуждаешь о мироустройстве.

Он улыбнулся.

— А оказалось?

Я молчал, потом всё-таки сказал:

— Она вообще не про устройство мира. Она про отношение человека к самому себе.

Он внимательно слушал.

— Помнишь строку?

«Добро в равноправном движении

Следит, чтоб товарища задним числом

Никто не ругал…»

— Помню.

— Я только сейчас понял, кто этот товарищ.

Он ничего не ответил, наверное, уже догадался.

— Это тот человек, которым ты когда-то был. Тот, кто ошибался, кто пил, кто убегал, кто искал любовь совсем не там, кто боялся.

Я сделал паузу.

— Знаешь, что самое странное? Мне всегда казалось, что добро должно бороться со злом. А теперь кажется… добро должно следить за тем, чтобы зло никто не унижал.

Он нахмурился.

— Не понимаю.

— Я тоже раньше не понимал. Если начать ненавидеть собственное прошлое, оно никуда не исчезнет — оно просто перестанет с тобой разговаривать. А ведь именно оно однажды привело тебя сюда. Ошибки не становятся

правильными, но они перестают быть врагами.

Он долго молчал, потом тихо спросил:

— Значит… ты простил себя?

Я покачал головой.

— Нет. Это слишком громкое слово. Я скорее перестал судить — потому что суд не меняет прошлое, он только делает настоящее тяжелее.

Он ещё немного подумал и вдруг улыбнулся.

— Тогда получается… бояться действительно больше нечего.

Я тоже улыбнулся.

— Почти. Бояться можно. Главное — не позволять страху выбирать вместо тебя.

Когда я писал это стихотворение, мне казалось, что я даю себе обещание стать смелее. Сегодня я вижу в нём другое: оно не про отсутствие страха, а про отказ объявлять войну самому себе.

Я всё ещё не считаю многие свои поступки правильными, но всё меньше хочу выносить приговор человеку, который их совершал — ведь именно он, ошибаясь, шаг за шагом привёл меня туда, где я нахожусь сейчас.

Наверное, поэтому мне сегодня особенно дорога мысль, которой в момент написания стихотворения я ещё не мог сформулировать: добро начинается не там, где зло уничтожено. Добро начинается там, где даже собственному прошлому позволяют быть частью пути.

Перечитав это сейчас, я заметил, что впервые не чувствую нужды что-то к этому добавить.

ГЛАВА 5

Миры

Иногда мне кажется, что память честнее нас — не потому, что она ничего не забывает, а наоборот: она забывает почти всё. Но иногда замечает ложь раньше, чем успеваешь её договорить.

Когда я начал вспоминать это стихотворение, первое, что сказал, было: «Тогда я мало записывал…» И почти сразу сам себя перебил. Нет, не мало — я вообще почти ничего не записывал. Я ленился. Мне казалось, что мысли можно просто носить в голове, что они никуда не денутся, что если они действительно важные, то останутся сами. Не останутся.

Именно поэтому это стихотворение стало одним из первых, которое я записал сознательно — не потому, что был уверен в своих силах, а потому, что впервые захотел попробовать относиться к словам как к ремеслу. Не ради книги, не ради сцены, даже не ради музыки. Хотя где-то глубоко внутри уже жила странная мысль: а вдруг именно через стихи я однажды приду к музыке? Тогда это звучало почти смешно. Сегодня я улыбаюсь, потому что между этой мыслью и тремя записанными альбомами лежало много лет, о которых тот человек ещё ничего не знал.

Но больше всего меня удивляет другое. Всю жизнь в нашей семье стихи писал мой брат: он выступал, участвовал в конкурсах, и для всех было

очевидно, что именно он — поэт. А я, кажется, всю жизнь рос наоборот — не вслед за кем-то, а отталкиваясь, не из желания доказать, а из желания найти свой собственный способ смотреть.

Наверное, именно поэтому стихотворение называется «Миры». **Не потому, что миров много, а потому, что способов видеть один и тот же мир — бесконечно много.**

— — —

Миры

Зачем обиду затаив на мир,
Скрываемся в печали заточениях.
И утопая в страхе, боли, сожалениях,
Надежду протираем мы до дыр.

Тем самым душу превращая в сыр.
Проводим время, отведённое в мучениях,
Себя теряя в глупых отношеньях,
Мы безрассудством пачкаем эфир.

И люди-ярлыки — тот бездарь, тот кумир.
А этот потерялся в наслаждениях.
Другой, увязнув в вечных примирениях —
Снаружи донор, но внутри вампир.

В утехе бесимся, всему виною жир.
Желаньям потакать в предубеждениях.
И вечно в зависти тонуть и оскорблениях
Ты неизбежно опускаешься в надир.

Не забывай, ведь ты здесь командир!
И честь свою отстаивай в сраженьях,
Не запятнай её, скрываясь в оружейных.
Пусть не в чулане, а в парадном твой мундир.

В тумане войн не потеряй ориентир,
И тело, что в осколочных ранениях,
Прибереги — оно ведь пригодится для спасенья
Других. Им нужен добрый поводырь.

Заметьте: поводырь, не конвоир!
Запутались кругом определения.
Не удивительно, что наши измышления
В чужой ведут дорогой монастырь.

Для вечной жизни ищем эликсир —
Всё попусту, проводим жизнь в гонениях.
Нам смерть не враг, и в умиротворении
На мир другой меняем этот мир.

— — —

Я ещё какое-то время смотрел на название.

— Почему именно «Миры»?

Он ответил сразу. Будто вопрос был слишком простым.

— Потому что миров много.

Я покачал головой.

— Нет.

Он удивился.

— Что значит «нет»?

— Помнишь, что ты только что сказал? Ты несколько раз повторил одну и ту же мысль. «Способ смотреть.» «Способ выбирать.» «Способ проживать.» «Путь идёт изнутри наружу.» Ты ведь всё время говорил об одном.

Он задумался. Кажется, впервые действительно прислушиваясь.

— То есть?

— Миры — это не места. Это способы существования. Один человек может прожить десять разных жизней, ни разу не переехав. И другой — объехать половину планеты, так и не покинув собственного страха.

Он молчал. Потом неожиданно улыбнулся.

— Интересно... Я ведь сам этого тогда не понимал.

— Конечно. Иначе ты не написал бы вот это.

Я показал на строку: «Не забывай, ведь ты здесь командир!»

Он рассмеялся.

— Да... Помню. Я ведь реально писал это себе, чтобы потом перечитать.

— Именно. Это не был лозунг. Это была инструкция.

Он снова замолчал. Потом тихо сказал:

— Знаешь... Мне тогда казалось, что однажды я во всём разберусь и смогу вести других.

Я кивнул.

— Помню.

— Сейчас смешно звучит.

— Почему?

— Потому что теперь я понимаю намного меньше.

Я не выдержал и улыбнулся.

— Нет. Ты понимаешь больше. Просто перестал путать понимание с уверенностью.

Он долго смотрел на меня. А потом неожиданно спросил:

— Получается… эти стихи были нужны не другим?

Я покачал головой.

— Другим тоже. Но сначала — тебе. Ты оставлял себе инструкции. Очень боялся забыть то, что только начал понимать. И знаешь… некоторые из них действительно сработали.

Он ничего не ответил. Только снова посмотрел на название. И мне показалось, что впервые увидел его так же, как вижу сегодня я.

Когда-то мне казалось, что это стихотворение рассказывает о разных людях. Сегодня я думаю иначе: оно рассказывает об одном человеке, который снова и снова меняет собственный способ смотреть.

Наверное, именно поэтому память начала этот разговор с маленькой лжи: «Я мало записывал». Нет — не записывал почти ничего. И именно в тот момент, когда я честно это признал, воспоминания начали открываться сами.

Теперь мне кажется, что это относится не только к памяти. **Любое настоящее движение начинается одинаково: не тогда, когда человек находит правильный ответ, а тогда, когда перестаёт защищать неправильный.**

За окном в этот момент шёл самый обычный вечер — без особых примет. Возможно, именно поэтому я его запомню.

ГЛАВА 6

Гений свободы

Наверное, это было первое стихотворение, которое я написал осознанно — не набросок, не случайная мысль, не четыре строчки, которые потом потеряются. До этого я почти ничего не записывал. И, наверное, символично, что первым текстом, который я всё-таки довёл до конца, оказалось стихотворение не о себе, а о брате.

Мне было пятнадцать. Родители только что окончательно разошлись после почти двадцати лет странного брака — скандалы, драки, расставания, возвращения. К тому моменту мы с мамой уже жили вдвоём, брат — отдельно. Иногда приезжал, иногда исчезал надолго.

В тот вечер он позвонил: «Малой, скоро буду». Но не приехал. Позже раздался звонок — со мной говорил оперативник, задавал вопросы. Я почти ничего не понимал, но очень хорошо чувствовал, что каждое слово может что-то изменить, поэтому отвечал осторожно. Утром брат оказался дома — избитый, уставший.

Помню ещё одну странную деталь. Накануне я записал ему диск — тогда ещё были CD-плееры, я долго подбирал музыку, хотел сделать приятное. Во время задержания плеер, кажется, разбили. Или диск. Сегодня уже не так важно. Важно другое: он лёг спать, а я сел писать.

Странно перечитывать это сегодня — прошло двадцать лет, и всего полгода назад мы практически перестали общаться. Совсем. Но тогда всё было иначе. Я одновременно восхищался им и совершенно его не понимал. Он писал стихи, не ленился, выступал, побеждал — людям нравилось то, что он делает. А мне всё время казалось, что чего-то не хватает. Не таланта, не свободы. Глубины. Тогда я ещё не мог объяснить это слово — просто чувствовал разницу между человеком, который пишет, чтобы его услышали, **и человеком, который пишет, чтобы услышать самого себя.** Возможно, я ошибался — сегодня я уже не решусь говорить об этом так уверенно.

Но именно тогда впервые захотел попробовать сам. Не стать лучше брата, не доказать ему что-то, а пройти своей дорогой.

Сейчас мне вдруг смешно от одной случайной игры слов. Я ведь всю жизнь говорил, что развивался от обратного. И только сегодня услышал это иначе: от о-брат-ного. Наверное, это действительно так. Очень многое во мне выросло не вопреки брату и не благодаря ему, а рядом с ним. Он показывал одну возможность прожить жизнь, я искал другую. И, наверное, именно поэтому мы оба так важны друг для друга, даже если наши дороги давно перестали совпадать.

— — —

Гений свободы

В пламя огня брошен комок.
Скомканный в шар, бывший листок.
Ровный красивый, одним словом чистый.
На нём человек излагал свои мысли.

Мысль чиста, как капля росы.
Словом нехитрым коробит умы.
Мозг ломает любые преграды.
Сердце познало горечь утраты.

Память колеблют воспоминания.
Добрые то или злые деяния.
Радости вспомнил он прожитых лет
Пачку любимых достал сигарет.

Радости, грусти его есть причины.
Кто-то родился, кого-то закрыли…
Из сотни людей он один — мотылёк!
В венах клокочущей жизни поток.

Любил по дорогам ходить в небеса,
Уставившись в яркие друга глаза.
Любил почитать он ночною порой,
Наедине с самим же собой.

Любил под дождём он побегать по лужам.
Петь он любил, хоть никто и не слушал.
Учить он себя никому не давал.
А судьи здесь кто? Голос мысли звучал.

Воля ему не давала покоя.
Адреналин посильней алкоголя.

Не ставьте здравому смыслу канонов.
Свой у него в голове свод законов.

Не нужно ни рая ему, ни экзотик!
Не заменить этим жизни наркотик.
Не изменить человека природы!
Он мотылёк - чёртов гений свободы!

— — —

Я ещё долго молчал. Потом всё-таки спросил:

— Ты правда думаешь, что ему не хватает глубины?

Он пожал плечами.

— Мне так кажется.

— А если ты ошибаешься?

Он задумался. Надолго.

— Тогда... значит, я написал это стихотворение не про него.

— А про кого?

Он посмотрел на меня. Кажется, впервые не зная ответа.

Я улыбнулся.

— Про себя. Про того человека, которым ты очень боишься однажды стать.

Он молчал. Потом тихо сказал:

— Знаешь... я ведь всё время стараюсь идти... от обратного.

Я не удержался.

— Слышишь?

Он нахмурился.

— Что?

— От… о-брат-ного.

Несколько секунд он просто смотрел на меня. Потом неожиданно рассмеялся.

— Чёрт… Я ведь никогда этого не замечал.

— Думаю, никто не замечал.

Он снова стал серьёзным.

— Он изменится?

Я долго молчал.

— Да.

— Мы будем дружить?

Молчание стало ещё длиннее. Кажется, он уже всё понял сам.

— Значит… не получится?

Я покачал головой.

— Получится. Просто совсем не так, как ты сейчас представляешь. Он навсегда останется твоим братом. Но однажды тебе придётся отпустить его. Не потому, что перестанешь любить, а потому, что поймёшь: **невозможно прожить чужую жизнь лучше самого человека.**

Он немного подумал, а потом вдруг спросил, не хочу ли я чаю — будто мы только что говорили о погоде.

ГЛАВА 7

Почемучки

Иногда человек возвращается не туда, где хочет жить. Он возвращается туда, где пытается понять, почему больше не может жить по-прежнему.

К тому моменту мы с женой почти год не общались, а если и общались, то либо грубо, либо через адвоката. За этот год произошло слишком много всего. Квартира, которая когда-то была нашей, постепенно стала только моей — не потому, что я победил в каком-то споре, а потому, что прошёл через банки, кредиты, документы, выплаты и в результате отдал огромную сумму денег, сразу же оказавшись в серьёзных долгах. Жить в этой квартире я не мог. Снимал другую. Наверное, стены слишком хорошо запоминают людей, которые в них жили — иногда возвращаешься в комнату и обнаруживаешь, что воздух всё ещё хранит разговор, которого давно нет.

Но однажды я всё-таки вернулся. Не совсем жить — скорее искать угол, из которого можно было бы начать возвращаться. Ходил по квартире, смотрел на знакомые вещи и задавал себе вопросы. Почему мы не любим тех, кто рядом? Почему ищем кого-то там, будто новый человек автоматически принесёт новую жизнь? Почему внешняя оболочка так легко становится важнее того, кто сохранял верность общим мечтам?

Наверное, тогда впервые по-настоящему пришла простая и неприятная мысль: новый человек — те же проблемы, если вместе с тобой в новые отношения переедет тот же самый ты.

В тот период я почти перестал мечтать. Любая идея казалась нереалистичной. Я не очень понимал, где нахожусь, кем являюсь и что вообще способен сделать дальше, хотя разумом знал: у меня есть знания, опыт, профессия, способность учиться и работать, я не глупее человека, который уже сделал то, о чём я только думаю. Но одно дело — понимать это головой, другое — поверить в себя именно тогда, когда особенно нужно.

Долги постепенно превратили жизнь в повторяющееся движение: работа — дом, зарплата — долг, работа — дом. Шум денег действительно заглушал всё остальное — не потому, что деньги были для меня главной ценностью, а наоборот: их постоянная нехватка сделала их главным звуком. Они стучали ночью, не давали спать, превращали каждый следующий день в продолжение предыдущего.

Иногда меня буквально тошнило от самого себя. Это случалось со мной и позже: перед важным решением тело словно раньше сознания понимало, что дальше жить по-старому уже невозможно. Один раз пришлось остановить машину — меня вырвало прямо на боковое стекло. В другой момент организм снова отреагировал так, будто пытался

физически вытолкнуть наружу то, что я слишком долго не мог произнести или решить.

Но самым тяжёлым оказалось даже не одиночество, не деньги и не неопределённость. Постепенно я стал понимать, насколько равнодушным был к тому, что происходило с женой. Не ко всему, но ко многому — к её беде, к слезам, к состояниям, которые я не хотел видеть, к мыслям и нуждам, которые были мне неудобны, неинтересны или казались второстепенными.

Очень легко сказать, что во всём виноваты двое. Гораздо сложнее увидеть, в чём именно участвовал ты сам. Мне стало казаться, что ей могло быть ещё хуже, потому что именно она первой решилась признать: так больше нельзя. Я не превращал её в правую, а себя — в виноватого. Просто впервые заметил собственное слепое пятно.

Мы часто думаем, что помогаем человеку, когда пытаемся решить за него все проблемы. Но иногда помощь выглядит иначе. Иногда она заключается в том, чтобы честно отразить человеку то, что с ним происходит. Иногда — в том, чтобы наконец услышать то, о чём он давно говорит. А иногда — просто не отвернуться.

В тот период мне хотелось меньше опираться на что-то светлое, возвышенное и правильное. Вера в Бога как будто потухла — не исчезла окончательно, но перестала быть тем, на что можно уверенно положиться. Хотелось вернуться к

чему-то низкому, телесному, животному — хотя бы потому, что оно ощущалось настоящим.

И всё же в самом конце стихотворения осталась надежда. Тогда я ещё не знал, что спустя год мы встретимся снова, оба разбитые. Мы не разведёмся. Не вернём прежние отношения. Мы начнём строить другие. И много лет спустя всё ещё будем вместе. Но человек, который ходил тогда по пустой квартире, ничего этого знать не мог. Он мог только спрашивать.

— — —

Почемучки

Я то, что происходит в моём мире,
Не объясняю ровным счётом никому.
Хожу-брожу я по своей квартире
И, как удод, себе талдычу: «Почему?»

Ну почему не любим тех, кто с нами рядом,
И всё кого-то ищем где-то там?
С нарядом Prada или с крепким задом,
А не того, кто верность сохранил мечтам.

Ну почему в себя мы иногда не верим,
И чаще в те моменты, когда надо бы?
Ты не тупее персонажа Джима Керри,
И если не согласен с этим, то увы.

Ну почему мы остаёмся равнодушны
К чужой беде, улыбкам, мыслям, нуждам?

Для наших ушлых и потухших душ так нужно
Побольше драйва — помощь это ж скучно.

Ну почему шум денег заглушает сердца ноты,
Стучит ночами, невозможно отдохнуть?
Кто там? Сто граммов пота, но ты
От спазмов рвоты не способен вновь уснуть.

Ну почему, ну почему мы почемучки,
Всё бесимся, но Бог нам не велит?
С овчинку небо — дар для мучеников кучки,
А тех, кто с верой, он не обделит.

— — —

Я перечитал последнюю строфу ещё раз.

— Ты действительно верил, что всё можно вернуть?

Он не сразу понял, о чём я спрашиваю.

— Что значит «вернуть»?

— Её.

— Да.

— А прежние отношения?

Он задумался.

— Наверное, тоже.

— Вот их как раз вернуть было нельзя.

Он посмотрел на меня настороженно.

— Значит, мы всё-таки разведёмся?

Я покачал головой.

— Нет.

Он молчал.

— Мы встретимся снова?

— Да.

— Через сколько?

— Примерно через год.

— Она будет ждать?

— Нет. И ты не будешь. Вы оба будете просто пытаться как-то жить.

— И что тогда произойдёт?

Я долго искал слова.

— Вы увидите друг друга разбитыми. Без обычного желания доказать, кто был прав. Без прежней уверенности, что проблема находится только в другом.

— И всё получится?

— Не сразу. И не так, как тебе сейчас хочется.

— А как?

— Вы не почините старое. Начнёте строить новое.

Он некоторое время смотрел на меня, словно пытался понять, радоваться ему или бояться.

— Мы всё ещё вместе?

— Да.

— Правда?

— Правда.

— И какие у нас отношения?

Я улыбнулся.

— Совсем другие.

Он выдохнул. Наверное, только сейчас заметил, что всё это время почти не дышал.

— Значит, надежда в конце была не напрасной?

— Не напрасной. Но ты немного ошибался, когда думал, что вера означает уверенность в хорошем исходе.

— А что она означает?

— Иногда всего лишь отказ поставить точку раньше времени.

Он снова посмотрел на стихотворение.

— А почему я всё время спрашиваю «почему»?

— Потому что пока не знаешь, какой вопрос действительно главный.

— А ты теперь знаешь?

— Возможно.

Он ждал.

— Не «почему она ушла». Не «почему мне так плохо». И даже не «почему мы не любим тех, кто рядом».

— Тогда какой?

— Почему я не видел человека рядом, пока он не исчез?

Он опустил глаза.

— Это звучит так, будто во всём виноват я.

— Нет. Виноватыми можно назначить обоих и на этом закончить. Но понимание начинается не там, где распределили вину. Оно начинается там, где каждый увидел свою часть.

— Она увидит?

— Думаю, да.

— А я?

— Ты уже начал. Иначе этого стихотворения не было бы.

Он помолчал. Потом вдруг спросил:

— Марина будет счастлива?

Я не смог ответить сразу.

— Я не знаю, можно ли однажды стать счастливым окончательно. **Но знаю, что спустя много лет ты всё ещё произнесёшь её имя так, будто за ним находится целая жизнь.**

— Марина…

— Да. Марина.

ГЛАВА 8

Вы



Иногда кажется, что можно сломаться только в одном месте — что неудача в любви останется внутри отношений с одним человеком, а дружба, работа, новые знакомства и всё остальное продолжат существовать как прежде. **Но у человека нет нескольких отдельных психик:** нет одной — повреждённой, которая взаимодействует с женой, и другой — совершенно нетронутой, предназначенной для всех остальных. Психика одна. И если в ней что-то рушится, трещины постепенно расходятся во все стороны.

Когда мы переехали во Вьетнам, внешне всё начало налаживаться: новая страна, новый город, новые люди. Быт постепенно устроился, жизнь снова двинулась вперёд. Мы с женой пытались строить отношения заново. Но вместе с нами в новую страну переехало всё, что мы ещё не успели понять и изменить — старые страхи, старые способы защищаться, старые обиды и моя всё более заметная неспособность доверять людям.

Я начал пересматривать отношения не только с женой, но и с друзьями, с близкими, с теми, кого считал своими, перед кем годами старался быть хорошим. Во мне всегда существовала эта потребность — нравиться, поддерживать, помогать, не доставлять лишних проблем. Наверное, где-то под ней находился недолюбленный ребёнок, который однажды решил, что любовь нужно заслуживать удобством.

После всего пережитого люди начали меня утомлять. Иногда мне не нравилось, как жена обращается со мной в присутствии других. Иногда сами другие вызывали раздражение, хотя не делали ничего, что могло бы его полностью объяснить. И в какой-то момент я понял, что снова выталкиваю наверх собственный эгоизм.

Мне хотелось выяснить, что я на самом деле чувствую. Не доказать что-то ей, не написать красивое признание, не убедить себя, что отношения обязательно нужно сохранить. Просто добраться до правды.

Письмо всегда было для меня разновидностью терапии. Поэтому я начал опускаться внутрь себя — глубже, ещё глубже, туда, где почти никогда не бываю сам и куда уж точно не допускаю других. Я не знал, что найду. Не был уверен даже в том, что любовь всё ещё существует. Спустя годы совместной жизни очень легко принять привычку за чувство, страх одиночества — за преданность, зависимость — за близость, общее прошлое — за достаточную причину продолжать. Я хотел понять, осталось ли под всеми этими слоями что-нибудь живое.

А потом появились строки — одна за другой. Я не узнавал собственного языка: он казался пришедшим откуда-то из XIX века — возвышенный, церемонный, почти театральный. «Вы», «Ваш слуга», эшафот, сибирские снега, Дамоклов меч. Это не было сознательной стилизацией. Чувство оказалось настолько большим, что само выбрало для себя непривычный мне голос.

Сначала в этом голосе было почти благоговение. Я смотрел на жену как на незнакомую женщину, которую только что встретил, как на человека, которого ещё предстоит узнать. Возможно, именно поэтому в стихотворении всё время звучит «Вы» — не только из уважения. Между нами действительно была дистанция. Мы были близки и одновременно почти незнакомы. Я восхищался ею, наполнялся её присутствием и даже в её отсутствие чувствовал, что продолжаю двигаться благодаря ей. И одновременно признавался:

«Меня не знаете». Впрочем, и сам я себя тогда не знал — не мог объяснить, что именно чувствую и почему готов идти за этой чувственной нотой так далеко.

Но постепенно возвышенное признание опустилось на землю — к её страхам, неуверенности, вспыльчивости, болям, к тому, что она решилась передо мной оголить после нашего возвращения друг к другу. Не просто рассказать — именно оголить, показать то, что прежде было защищено, спрятано или не замечено даже ею самой.

Тогда передо мной действительно стоял выбор: продолжать или уйти, остаться рядом не только с той женщиной, которой можно восхищаться, но и с её страхами, слабостями, резкостью и внутренними ранами. Я решил остаться. Не спасти её, не вылечить в одиночку, не сделать счастливой вместо неё — хотя в самом стихотворении я ещё говорю об этом гораздо самоувереннее. Я решил быть рядом и работать с этим вместе. Однако последнее слово всё равно оставил ей.

Почти всё стихотворение я обращаюсь к ней на «Вы». И только в последней строке появляется «ты». Не как присвоение — как приближение. И даже там я не говорю: «Будь со мной». Я оставляю ей право решить.

Наверное, именно поэтому прежнее название — «Завидев Вас я будто бы немой» — стало казаться мне слишком объясняющим. Я убрал почти всё,

оставил одно слово — «Вы». Ёмко, немного загадочно и точно передающее расстояние между двумя людьми, которые уже прожили вместе большую часть жизни, но только начинают по-настоящему знакомиться.

— — —

Вы

Завидев Вас, я будто бы немой
Внимаю только Вашим сладострастным звукам.
Каким же мукам уготовано судьбой
Явиться без предупреждения, без стука?

Меня не знаете, а впрочем, Ваш слуга
Себя понять не смог доселе ни на йоту.
Единственно вот эту чувственную ноту,
Не замочив в любви ни разу сапога,

Готов нырнуть за ней хоть с головой в болото,
Хоть в ссылку, в вечные сибирские снега.
Да что там… жизнь отдать за взгляд с помоста эшафота…
Возможно, не богат, не знаменит, как этот кто-то,

Но Вас и только Вас я принял глубже, чем душой…
Ещё вчера Вселенная казалась мне большой.
Ковшом для Вас все звёзды соберу.
Зашью зияющую Чёрную дыру.

Вы правы, да, теперь мне точно всё по силам.
Стерплю Ваш страх, пусть даже Вы плаксивы,
Немного вспыльчивы и рубите с плеча —
Ну что ж, не нужно мне другого палача.

Готов подставить голову под Ваш Дамоклов меч…
И только слушать Вашу неуверенную речь,
И быть её неисчерпаемым героем,
И каждый нежный взгляд мне пусть даётся с боем.

Вы убедитесь — я несказанно силён
И, несомненно, был для этого рождён:
Вас вдохновлять своей железной волей
И Ваше естество лечить от мучающих болей,

И верно охранять Ваш внутренний покой,
Покуда буду в силах и живой.
Мои намеренья до крайности серьёзны,
И, на коленях стоя, умоляю слёзно:

Позвольте выполнить всё то, что суждено судьбой…
Лишь только ты решишься быть со мной.

— — —

Я задержался на последней строке.

— Почему здесь вдруг «ты»?

Он посмотрел на меня так, будто ответ был очевиден.

— Потому что она становится ближе.

— Только поэтому?

Он снова прочитал строку.

— А что ещё?

— До неё ты всё время говоришь «Вы». Восхищаешься, служишь, обещаешь собрать звёзды, зашить Чёрную дыру, терпеть страх, лечить боли и охранять внутренний покой.

— Да.

— А потом перестаёшь обещать и оставляешь ей решение.

Он задумался.

— «Лишь только ты решишься…»

— Именно.

— Получается, я не требую, чтобы она осталась?

— Нет. И это, пожалуй, самая зрелая строка во всём стихотворении.

Он усмехнулся.

— А всё остальное незрелое?

— Не всё. Но местами ты очень уверен, что способен справиться с её жизнью лучше неё.

— Я хочу помочь.

— Знаю.

— Разве это плохо?

— Нет. Но помощь и спасение — не одно и то же.

Он нахмурился.

— Я же не бросаю её одну.

— И не нужно. Просто ты не сможешь зашить каждую её Чёрную дыру, не сможешь железной волей вылечить всё, что болит, и не обязан постоянно быть неисчерпаемым героем.

— Тогда что мне делать?

— Быть рядом. Не вместо неё — рядом с ней.

Он помолчал.

— Звучит как будто меньше.

— На самом деле гораздо больше. Спасти человека можно в собственном воображении. Остаться рядом с настоящим — намного труднее.

Он снова посмотрел на текст.

— Но я ведь действительно готов на всё.

— Верю.

— И ты?

Я не ответил сразу.

— Нет.

Он удивился.

— Ты больше её не любишь?

— Люблю. Но теперь понимаю, что «готов на всё» — опасные слова. Иногда под ними прячется готовность исчезнуть самому.

— А разве любовь не требует жертвы?

— Иногда требует. Но не постоянного самоуничтожения. Иначе однажды ты обнаружишь, что снова стараешься быть для всех

хорошим, а внутри уже никого не осталось.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Это про то, что люди начали тебя раздражать?

— И про это тоже. Я думал, что разочаровался во всех вокруг. А потом понял: у меня нет нескольких отдельных психик. Та часть меня, которая перестала доверять жене, не могла при встрече с другими людьми просто выйти из комнаты и уступить место здоровой.

— Значит, после нашего разрыва я перестану доверять вообще всем?

— На какое-то время — почти.

— И ей тоже?

— Особенно ей.

Он опустил глаза.

— Тогда зачем я пишу всё это?

— Чтобы проверить, осталось ли под недоверием что-то настоящее.

— Осталось?

— Да.

Он выдохнул, но почти сразу задал следующий вопрос:

— И этого хватит?

— Одного чувства — нет.

Он поднял голову.

— А чего ещё не хватает?

— Работы. Честности. Границ. Способности видеть другого не только прекрасным деревом, которое проросло внутри тебя, но и отдельным человеком, имеющим право расти в свою сторону.

Он некоторое время молчал.

— А мы справимся?

— Со всем — нет. Друг с другом — пока справляемся.

— Она всё ещё со мной?

— Да.

— Потому что я выполнил всё, что здесь обещал?

Я улыбнулся.

— Нет. Потому что вы оба постепенно отказались от необходимости соответствовать этим обещаниям.

Он снова посмотрел на последнюю строку.

— Она решилась?

— Да.

— А я?

— Ты тоже.

— На что?

— Не просто быть с ней. Узнавать её заново и позволять ей заново узнавать тебя.

Он провёл пальцем по названию.

— «Вы»…

— Да.

— А когда мы окончательно перейдём на «ты»?

— Наверное, никогда окончательно. В каждом близком человеке всегда останется что-то неизвестное. **И, возможно, именно поэтому любовь не заканчивается в тот момент, когда кажется, что вы уже всё друг о друге знаете.**

Он ещё раз провёл пальцем по слову «Вы» — уже не как по названию, а как трогают что-то живое.

ГЛАВА 9

Приглашение в гости



Наверное, это было первое стихотворение, в котором мне захотелось не разобраться с очередной болью, а выбраться из неё.

К тому времени я уже достаточно долго копался в прошлом — в отношениях, в семье, в дружбе, в собственных ошибках, в том, как всё, что происходило раньше, привело меня именно в эту точку. Разбираться в себе необходимо. Но в какой-то момент даже самый честный разбор может превратиться в процесс ради процесса. Можно бесконечно переворачивать одни и те же события, искать новые причины, назначать

виноватых, оправдывать, обвинять, снова прощать — и всё равно оставаться на том же месте.

Наверное, тогда во мне впервые достаточно отчётливо прозвучало: «Да хорош уже». Что даст ещё один круг? Ещё одно возвращение к старой обиде? Ещё один спор о том, кто, когда и почему поступил неправильно?

Это не означало, что прошлое стало плохим и его нужно было выбросить. Наоборот: в нём было много прекрасного. Светило солнце, воздух поступал в лёгкие, рядом находились дорогие люди. Были радость, любовь, путешествия, открытия — и те способы жить, которые когда-то действительно помогали. Я не хотел объявлять всё это ошибкой. **Просто начал чувствовать: то, что однажды поддерживало, теперь больше не работает.** Ты можешь уважать дорогу, по которой пришёл, и всё же однажды признать, что дальше по ней идти не хочешь.

Как с курением. Курил десять лет — и вот перестал. Не обязательно каждое утро проклинать все десять лет. Можно сказать: «Да, это было. Но сегодня я выбираю иначе».

Наверное, поэтому прошлое в стихотворении не гниёт и не преследует меня. Оно оставляет солнечные блики — красивые отражения чего-то уже завершённого. И я не ропщу. Всё действительно было распрекрасно. Но хорош. Пора двигаться дальше.

Для такого движения мне требовалось заявление — что-то простое и почти лозунговое, что можно было бы произнести самому себе: «С сегодняшнего дня я в вас не верю». Не верю в невежество, гордыню, спесь, чванство. Не потому, что окончательно победил их в себе. Скорее потому, что перестал принимать их за неизменную часть собственной личности. Я решил выставить их за дверь. Но даже этого мне показалось мало. Я хотел положить их в бутылку и запустить в синее море.

В тот момент мы всё ещё жили в Польше. Мы много говорили о переезде, мечтали оказаться там, где тепло, где море и совсем другая картинка перед глазами. Мне хотелось верить, что новое пространство поможет изменить не только то, что находится вокруг, но и способ, которым я смотрю. Конечно, сейчас я понимаю: переезд сам по себе ничего не исправляет, человек берёт себя с собой. Но новое место способно нарушить привычную неподвижность, заставить заново увидеть вещи, которые дома давно перестал замечать. И я был готов работать дальше, даже если для того, чтобы разобраться с прежними причинами горя, понадобится целая жизнь.

В стихотворении появился костёр на крыше мира. Я хотел примириться с собой: сжечь боязнь неудачи, злость на себя за то, что не начал раньше, накипь от несделанного, несказанного, упущенного. А потом развеять пепел с высоты Памира.

Я всегда мечтал ходить в горы, мечтал увидеть Гималаи, побывать в Непале. Тогда это были только картины в голове. Сегодня я уже дважды был в Гималаях, много ходил по горам Азии, а совсем недавно спустился с вулкана Ринджани на острове Ломбок. Человек, который писал это стихотворение в Польше, ничего такого ещё не видел. Он мог только надеяться, что когда-нибудь услышит приглашение. Сегодня я могу ответить ему: услышал.

— — —

Приглашение в гости

К чему все эти споры о минувшем?
К чему все эти чопорные крики?
Начну с сегодня — завтра будет лучше,
Где солнце прошлого оставит свои блики.

И не ропщу, всё было распрекрасно.
Я с радостью вас выставлю за двери:
Невежество, гордыню, спесь и чванство.
С сегодняшнего дня я в вас не верю!

Бутылкой запущу их в сине море,
Где тонут корабли в его пучинах.
Утонут в море пусть пучины горя,
Пусть буду старый и лицо в морщинах.

Я разожгу костёр на крыше Мира,
Сожгу боязни неудач и накипь злости.
Развею пепел с высоты Памира,

Услышу от Вселенной приглашение в гости.

— — —

Я снова остановился на последних двух строках.

— Ну что?

Он посмотрел на меня, не понимая вопроса.

— Пригласила?

— Кто?

— Вселенная.

Он улыбнулся.

— Пока ещё нет.

— Пригласит.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я уже был там, куда ты только собираешься.

Он некоторое время молчал.

— На Памире?

— Нет. До Памира пока не добрался. Но дважды был в Гималаях.

— Правда?

— Правда.

— А море?

— Его тоже будет много. Настолько, что однажды ты будешь сидеть на острове, опустив ноги в песок, и вспоминать, как когда-то отправлял в синее море бутылку со своим прошлым.

Он рассмеялся.

— Красиво говоришь.

— Это ты красиво написал. Я только успел проверить, что некоторые из твоих картинок действительно существуют.

— Значит, всё получилось?

Я задумался.

— Что именно?

— Ну... Я выставил их за двери? Невежество, гордыню, спесь и чванство?

— Нет.

Он заметно расстроился.

— Тогда о чём мы вообще говорим?

— Они периодически возвращаются. Иногда стучат. Иногда входят без разрешения. Порой я замечаю их только тогда, когда они уже расселись внутри и чувствуют себя как дома.

— Значит, от себя невозможно ничего выбросить?

— Не знаю. Но сейчас мне кажется, что недостаточно выставить какую-то часть себя за дверь и объявить, что больше в неё не веришь. Нужно ещё понять, зачем она когда-то появилась.

— Опять разбираться?

— Да. Только не бесконечно.

— А где граница?

— Наверное, там, где размышление перестаёт помогать сделать следующий шаг.

Он посмотрел на первую строку.

— «К чему все эти споры о минувшем…»

— Вот именно. Ты тогда уже почувствовал эту границу. Ещё не умел её объяснить, но устал превращать боль в занятие на полный рабочий день.

— Получается, я просто решил больше не страдать?

— Нет. Так решить невозможно. Ты решил не делать страдание единственным доказательством глубины.

Он задумался.

— А прошлое действительно оставит только блики?

— Не только. Останутся шрамы, привычки, страхи, люди, которых ты будешь вспоминать совсем по-разному. Но останется и свет. И со временем ты перестанешь думать, что обязан выбрать что-то одно: либо всё было прекрасно, либо всё было ужасно.

— А как было?

— По-всякому. И всё это было твоей жизнью.

Он снова перечитал третью строфу.

— Почему там дважды пучина? «Где тонут корабли в его пучинах. Утонут в море пусть пучины горя…»

— Наверное, потому что мне очень хотелось утопить всё сразу.

Я улыбнулся.

— А оно умеет плавать.

— Горе?

— Особенно горе. Его не всегда удаётся утопить. Но иногда оно перестаёт быть морем и становится обычной водой, через которую можно перейти.

Он посмотрел на меня с недоверием.

— Ты теперь всегда так разговариваешь?

— К сожалению, иногда даже хуже.

Он рассмеялся.

— Хорошо. А костёр? Разжёг?

Перед глазами на мгновение возникли горы, палатки, холодные ночи, склоны Ринджани, далёкие вершины Гималаев.

— Не один. И не только на крыше мира.

— Боязнь неудачи сгорела?

— Нет. Но теперь я реже жду, пока она исчезнет, прежде чем начать.

— А злость?

— Иногда именно она помогает понять, что пора что-то менять.

— Значит, и её не стоило сжигать?

— Возможно, стоило сжечь только накипь. А сам огонь оставить.

Он тихо повторил:

— Приглашение в гости…

— Да.

— И что это оказалось за приглашение?

Я посмотрел на него.

— Не билет в одно конкретное место. Скорее разрешение выйти из дома.

— Кто его дал?

— Ты сам.

— Тогда почему от Вселенной?

— Потому что иногда собственный голос кажется слишком маленьким, чтобы ему поверить. И человек называет его Вселенной.

Он ненадолго задумался, а потом спросил:

— Я буду счастлив?

— Иногда.

— А завтра действительно будет лучше?

— Иногда хуже.

Он поморщился.

— Отличное приглашение.

— Зато настоящее.

— И всё-таки ты бы согласился пройти всё это снова?

Я вспомнил проданную квартиру, переезд, Вьетнам, море, горы, людей, которых невозможно было встретить, оставшись в прежней точке, ошибки, которых можно было избежать, и открытия, которых без этих ошибок не случилось бы.

— Да.

— Даже зная, что невежество, гордыня, спесь и чванство вернутся?

— Теперь хотя бы знаю, где дверь.

Он улыбнулся.

— Значит, всё получилось?

— Нет. Всё происходит. И, пожалуй, это даже лучше.

ГЛАВА 10

Страхи

Иногда для настоящей мысли не требуется особенного места. Не нужен монастырь, не нужна вершина горы, не нужна библиотека, наполненная книгами мудрецов. Иногда достаточно парковки возле магазина.

Мы тогда тренировались ездить за рулём. Стояли на парковке, когда к нам подошёл молодой человек. Завязался разговор. Вскоре выяснилось, что он живёт на улице. Не помню, чтобы в нём было что-то особенно трагическое — он не выглядел человеком, который пришёл вызвать жалость или немедленно попросить о спасении. Мы просто поговорили.

Это оказалась не единственная встреча. Через какое-то время мы снова созвонились, потом ещё раз. Что-то обсуждали. Он рассказал, что возле одного из гипермаркетов собираются ребята, которым можно привезти ненужные вещи, старую одежду или еду. Мне почему-то захотелось их накормить. Я заказал несколько пицц, поехал в другой район и отвёз им. Старался не давать денег — мне казалось, что это не решит ничего, а, возможно, только позволит на короткое время продолжить всё как есть. Хотелось помочь иначе: накормить, привезти вещи, поговорить. Не сделать вид, будто я сейчас исправлю чужую жизнь, а просто принять в ней небольшое участие.

Раньше при встрече с бездомным во мне, скорее всего, первой возникла бы жалость, ощущение несправедливости, желание немедленно вытащить человека из его положения. Но здесь всё было иначе. Он не производил впечатления человека, которого собственная жизнь особенно мучает. Грязный, иногда голодный, без квартиры, за пределами привычного общественного устройства — но при этом он держался совершенно свободно. Мог говорить что думал. Не особенно беспокоился, какое впечатление произведёт, кто и что о нём скажет, где ему сегодня спать и насколько его способ жизни соответствует чужим представлениям о нормальности.

А у меня были почти все привычные блага цивилизации: дом, работа, еда, одежда, возможность что-то покупать, планировать и устраивать. Но внутренне я не чувствовал себя свободным. Меня поразил именно этот перевёрнутый порядок. Человека на улице принято жалеть. А я внезапно обнаружил в нём нечто, чему можно было позавидовать. Не его бездомности, не голоду, не грязной одежде. **Отсутствию некоторых страхов, которые полностью управляли мной.**

Однажды я пришёл в магазин, чтобы купить еду и вещи для этих ребят. Продавщица складывала покупки в пакеты. Вокруг люди торопились по своим делам: кто-то добавлял к покупке жвачку, кто-то выбирал что-то у кассы, кто-то нервничал из-за очереди. Огромная масса людей непрерывно

двигалась туда-сюда. Через несколько секунд я тоже должен был исчезнуть в этой массе.

Я закрыл глаза. Всего на мгновение. И секунды неожиданно стали длиннее целого дня. Мне стало легче. Словно среди касс, пакетов, ценников и чужих спешащих тел я на секунду прикоснулся к чему-то настоящему. Удивительно, что до этого я бывал в подобных магазинах сотни или тысячи раз, но никогда не замечал ничего подобного. Понадобилась одна встреча с бездомным, чтобы привычная картина пошла кругами, как вода от брошенного камня.

Самым важным для меня стал вопрос из стихотворения: «Ты, глядя на него, не испытаешь зависть. Но почему? Ведь страх не знает он». После первой строки как будто должна стоять точка — конечно, не испытаешь, чему здесь завидовать? И тут же возникает неудобное: почему? Если свобода действительно так ценна, почему человек, потерявший почти всё, иногда выглядит свободнее тех, кто всю жизнь боится потерять накопленное?

А затем появляется строка: «Крест на себе зачем решил поставить?» Я намеренно не уточняю, кто именно поставил на себе крест. Он — потому что оказался на улице и будто бы отказался от нормальной жизни? Или человек, который смотрит на него и настолько скован страхами, что сам давно перестал считать себя способным что-либо изменить?

Денег у бездомного почти не было. Но жизни он не был лишён. Он мог говорить, смеяться, вспоминать, рассказывать истории — ему было что рассказать. И это неожиданно отличало его от многих людей, у которых есть жильё, работа и полный холодильник, но чья жизнь постепенно свелась к тому, чтобы поесть, поспать, снова заработать и снова что-нибудь купить.

Я не пытался романтизировать улицу. Не думал, что голод, грязь и незащищённость делают человека духовнее. Он сам пришёл к такому способу жить — по своим причинам, которых я не мог знать до конца. Я лишь пытался увидеть, чему эта встреча может научить меня.

Он рассказывал, что спит в парке под сосной. Я запомнил именно эту фразу. Мы же покупаем мягкие кровати, непросроченную еду и всё необходимое для безопасности, а потом ложимся в эти кровати совершенно измученными. Страх заедаем едой, тревогу — покупками, неуверенность — очередными планами. И утром начинаем всё заново.

Из этого не следовало, что для очищения обязательно нужно стать бездомным. Я не собирался отказываться от дома и спать под сосной. Но понял: **наличие дома ещё не означает, что человек живёт. Как и отсутствие дома не обязательно означает, что его жизнь закончилась.** Наверное, нужно было найти что-то среднее: не бросать всё, но и не

позволять страху распоряжаться каждым следующим днём. Жить сегодня, сейчас, по возможности так, чтобы не было скучно. И не выдумывать себе новых бед раньше, чем они действительно появились.

— — —

Страхи

Я, стоя в магазине возле кассы,
Задумался о смысле бытия.
Там, где снуют туда-сюда народа массы,
Через секунды должен быть и я.

Закрыв глаза, тем радуюсь секундам —
Они тянулись дольше того дня.
Так странно, что в том месте людном
Впервой себя словил на этом я.

Пять сотен тысяч раз бывал тут прежде
И ничего вокруг не замечал.
Там нищий, руку протянув в надежде,
Безмолвно, будто медитируя, стоял.

Ты, глядя на него, не испытаешь зависть.
Но почему? Ведь страх не знает он.
Крест на себе зачем решил поставить?
Да, денег нет — но жизни не лишён.

Голодный, грязный и одет немодно —
Такого все обходят стороной.
Зато душа его прозрачна и свободна,

Над ней не властен страх — лишь смерть с косой.

А мы всё покупаем, но боимся,
Страх заедая непросроченной едой.
Потом измученными мы в кровать ложимся —
На мягкое, не в парке под сосной.

Чтоб очиститься, бездомным быть не нужно.
Но и бояться вечно тоже смысла нет.
Живи сегодня и сейчас, и чтоб не скучно.
И не выдумывай себе ненужных бед.

— — —

Я снова посмотрел на четвёртую строфу.

— Ты действительно ему завидовал? — спросил я, глядя на четвёртую строфу.

Он задумался.

— Наверное. Не тому, чтобы оказаться на его месте — а тому, что ему всё равно. Так выглядело.

Я улыбнулся.

— Значит, ты увидел несколько разговоров и решил, что знаешь его внутреннюю жизнь?

— Я же не утверждаю, что знаю всё, — нахмурился он.

— Но пишешь: «Ведь страх не знает он».

— А что, по-твоему, он боится?

— Не знаю. И ты не знал. Возможно, страх сопровождает его каждую ночь — холод, насилие, болезнь, полиция, голод. Мы просто увидели человека, который не показал нам своего страха.

Он немного помолчал.

— Значит, строка неправильная?

— Нет. Она честно показывает, каким ты увидел его тогда. Не объективную правду о нём. Твоё собственное потрясение.

— Какое?

— Ты встретил человека, у которого не было почти ничего из того, что ты считал необходимым для нормальной жизни. И он всё ещё разговаривал, смеялся, рассказывал истории. Не выглядел законченным. А ты, обладая всем необходимым, постоянно боялся.

Он перечитал:

— «Крест на себе зачем решил поставить?»

— Вот это хороший вопрос.

— К нему?

— И к нему. И к себе.

— Какой крест поставил на себе я?

— Возможно, решил, что без определённой работы, суммы денег, квартиры, отношений и одобрения других людей не имеешь права считать себя живым.

Он внимательно посмотрел на меня.

— А это не так?

— Всё перечисленное важно. Особенно дом, еда и безопасность. Не нужно делать вид, будто лишения прекрасны. Но ни одна вещь сама по себе не выдаёт человеку разрешение жить.

— То есть бездомный свободнее меня?

— Нет. Свобода вообще вряд ли измеряется количеством имущества. Ты просто увидел в нём одну свободу, которой тебе недоставало, и не увидел несвободу, с которой он, возможно, жил каждый день.

— Тогда я его романтизировал?

— Немного.

— Значит, всё стихотворение наивное?

— Отчасти. Но наивность не уничтожает вопрос. Иногда она позволяет его впервые задать.

Он снова посмотрел на строки о прозрачной душе.

— Откуда я знаю, что она прозрачна?

— Ниоткуда. Возможно, тебе хотелось, чтобы она была такой.

— Почему?

— Чтобы доказать самому себе: можно потерять внешнюю устроенность и не исчезнуть как человек.

— То есть он мне был нужен как пример?

— В стихотворении — да. В жизни он был отдельным человеком, которого ты знал совсем немного. И это важно не перепутать.

Он помолчал.

— Я хотя бы помог нормально?

— Насколько мог. Привёз еду, вещи, поговорил. Не стал изображать спасителя.

— Я специально не давал денег.

— Возможно, это было разумно. Возможно, нет. Мы не знаем, что ему действительно было нужнее. Но важнее другое: ты перестал помогать только для того, чтобы быстрее избавиться от собственной жалости.

Он усмехнулся.

— «Адекватная помощь»?

— Да. Хотя теперь я осторожнее с этим словом. То, что кажется адекватным помощнику, не всегда таково для человека, которому помогают.

— А что тогда делать?

— Спрашивать. Слушать. Не считать, что чужая жизнь становится понятной только потому, что мы увидели её снаружи.

Он посмотрел на первую строфу.

— Но стихотворение всё-таки началось не с него.

— Нет. С тебя возле кассы.

— Почему именно там?

— Потому что настоящая мысль не спрашивает, достаточно ли красивое выбрала место. Она может появиться возле ценников и жвачки, перед выключенным телевизором, на парковке, в пустой квартире.

— А на вершине горы?

— Там тоже. Но гора не гарантирует глубины, равно как и касса не мешает ей появиться.

Он закрыл глаза, будто снова оказался в том магазине.

— Я помню эти секунды.

— И я.

— Почему они тянулись так долго?

— Возможно, ты впервые за долгое время перестал бежать вместе со всеми.

— А сейчас умеешь?

— Иногда.

— Что для этого нужно?

— Заметить, что опять побежал.

Он открыл глаза.

— В последней строфе я всё упростил. «Живи сегодня и сейчас».

— Да.

— Это плохо?

— Нет. Иногда человеку нужна простая фраза, а не ещё одна сложная система. Только «живи сейчас» не означает, что нужно игнорировать будущее или реальные опасности.

— А что означает?

— Не проживать заранее все несчастья, которые ещё даже не случились.

Он кивнул.

— «Не выдумывай себе ненужных бед».

— Именно.

— Получилось?

Я рассмеялся.

— Нет. Но теперь хотя бы иногда замечаю, когда снова их выдумываю.

Он снова задумался о бездомном.

— Интересно, где он сейчас?

— Не знаю.

— Мы больше не встретимся?

— Возможно, нет.

— Странно. Он изменил мой взгляд, а сам об этом, наверное, даже не узнал.

— Так бывает чаще, чем кажется. Люди входят в нашу жизнь на несколько минут, произносят обычную фразу — например, что спят под сосной, — и уходят. А вокруг этой фразы ещё много лет расходятся круги.

— Получается, это стихотворение о нём?

— Только отчасти.

— Тогда о ком?

— О человеке возле кассы, который внезапно понял, что всю жизнь покупал безопасность, но так и не почувствовал себя в безопасности.

Он тихо повторил:

— А бездомным быть не нужно.

— Не нужно.

— Что же нужно?

— Перестать принимать страх за единственное доказательство того, что ты ответственно относишься к жизни.

— И всё?

— Для начала — достаточно.

Он посмотрел куда-то туда, где когда-то стоял незнакомый человек с протянутой рукой.

— Ты был прав.

— В чём?

— Я ему всё-таки завидовал.

— Знаю.

— И сейчас завидуешь?

Я подумал.

— Уже не ему.

— А кому?

— Тому себе, который впервые на несколько секунд остановился посреди толпы и действительно заметил, что существует.

ГЛАВА 11

Батискаф



Иногда внутренний голос не спорит, не предупреждает, не убеждает остановиться. Он просто говорит: «Ладно. Я в отпуск. А ты давай здесь куролесь». Примерно так я сейчас вспоминаю тот период.

Жена ушла к другому, не выдержав того, каким я был на тот момент. Прошло совсем немного времени, и я оказался в новых отношениях. Зачем я так быстро в них вошёл, сейчас объяснить трудно. Наверное, тело требовало хоть какого-то продолжения жизни, а всё внутреннее уже слишком устало сопротивляться — слишком долго

оно прикрывало улыбчивость, принятие, попытки казаться нормальным и делать вид, что происходящее не разрушает меня изнутри.

У той женщины были дети от разных мужчин, своя история, свои накопленные к тому возрасту сложности. У меня — свои. Я не успел разобраться ни в одной из них. Вместо этого мы сняли отдельную квартиру, потому что в своей я оставаться не мог.

Начался странный год. Много работы. После работы — много бессмысленного движения: алкоголь, наркотики, попытки чем-то заполнить пространство, которое ничем не заполнялось. На короткое время казалось, что всё это помогает закрыть боль. Но ничего не закрывалось. Скорее я сам постепенно исчезал за этим шумом.

Я начал ссориться с друзьями — причём не с людьми, которых по привычке называл друзьями, а с теми, кто действительно ими был. Один из них всё-таки выдержал, приехал ко мне. Мы много разговаривали, проводили время вместе, и он помог мне начать выбираться.

К тому моменту отношения с той женщиной уже закончились. Я вернулся в свою квартиру тридцатого декабря — на следующий день должен был наступить Новый год. Я заехал с остатками вещей, которые ещё сохранились: что-то исчезло, что-то я кому-то подарил, что-то продал почти за бесценок. Мне было всё равно. В квартире остались голые стены, потолок и тот самый чёртов

телевизор. Я не понимал, что делать дальше.

Помню ванную. Я стоял голый, согнувшись перед зеркалом, и смотрел на собственное лицо, на синяки под глазами, на тело, с которым обращался так, будто оно принадлежит не мне, на человека, которому слишком долго позволял делать с собой всё что угодно. И впервые заплакал по-настоящему. Не тихо, не красиво — истерически, как будто внутри действительно открыли какой-то шлюз и оттуда пошла река.

В тот момент я впервые ясно понял, насколько жестоко обращался со своим телом, разумом и тем, что привычно называю душой. **И пообещал себе: я больше не буду так с собой.**

Это обещание не превратило меня мгновенно в другого человека. Даже спустя годы я по-прежнему иногда позволяю людям кататься по себе. Старые способы выживания никуда не исчезли. Именно поэтому сегодня я хожу на психотерапию и продолжаю разбираться с тем, что тогда только впервые увидел.

Но возле того зеркала направление изменилось. Я начал возвращаться — к себе, к письму, к способности собирать мысли и ставить их в ряд. Внутри накопилось слишком много осколков: слишком много злости, бессилия, воспоминаний, которые резали каждый раз, когда к ним прикасался. Мне понадобилось выбросить эти ножи на бумагу.

Я плакал так, будто из глаз можно вытолкнуть всё то, что годами не удавалось произнести. Принял душ. Завернулся в плед. И начал писать.

Мне хотелось избавиться от страха. Но даже тогда я, кажется, чувствовал: просто выгнать его не получится. Если позволить ему скрыться в шкафу, он переждёт, а потом вернётся, когда я снова ослаблю хватку. Поэтому страх нужно было не прогнать. Нужно было удержать перед собой и рассмотреть — даже если для этого придётся самому стать себе палачом, топором и плахой. Иногда гниющую часть действительно приходится отрубать. Не потому, что ненавидишь себя, а потому, что хочешь сохранить всё остальное.

Так появился батискаф. Не машина для бегства, не способ закрыться от глубины металлическими стенами. Наоборот — возможность спуститься туда осознанно, нырнуть на дно собственного сознания, посмотреть в тёмные пещеры, увидеть то, что обычно удобно не замечать.

Во мраке действительно легче. Там не режет глаза. Там находится много людей, готовых вместе объяснить, почему ничего менять не нужно. Можно жить в темноте, не задавая вопросов: пить, работать, развлекаться, снова пить, находить кого-то нового, терять старых друзей — и каждый раз убеждать себя, что настоящая проблема находится где-то снаружи. Но темнота оказалась ещё и мерилом. Только увидев, сколько её во мне, я смог понять, где искать свет.

Позже появится альбом «Лабиринт». Тогда я ещё не знал, что это будет продолжением того же погружения. «Батискаф» — решение нырнуть. «Лабиринт» — попытка составить карту того, что обнаружилось на глубине.

Наверное, именно здесь стихи впервые стали для меня не просто способом высказаться. Они стали спасательными буями. Мысли, поставленные в ряд, возвращали направление. Не решали всё. Но помогали понять, куда плыть дальше.

И среди всего увиденного была одна мысль, за которую особенно хотелось держаться: **ты — твой лучший друг.** Не единственный. Не тот, кто способен справиться совершенно один. Сегодня я понимаю, что многое нужно проживать вместе с другим человеком: другом, близким, терапевтом. Но тот, кто находится внутри, всё равно должен однажды вернуться из отпуска. Без него никакая помощь снаружи не сможет завершить путь.

— — —

Батискаф

Осколки мыслей бросил все в бумагу.
Их накопилось там за пару сотен лет.
Из головы глазами выдавил всю влагу
И, приняв душ, я завернулся в плед.

Желанье есть избавиться от страха,
Скорее — не позволить скрыться в шкаф.
Ты сам себе палач, топор и плаха.

Как Жак Кусто, залазь в свой батискаф.

На нём нырни на дно пучин сознания
И тщательно исследуй всё вокруг.
На тёмные пещеры обрати внимание.
И помни: ты — твой лучший друг.

Да, там бывает гадко, горько, страшно.
Всего не передать и тыщей слов.
Но ощущение, что это не напрасно,
Приводит к мысли, что ты чист и нов.

Во мраке пребывать всегда удобней:
Людей там больше и не режет глаз.
Ух, надоела темень проклятая, чтоб ей!
Но, будучи мерилом, просветляет нас.

— — —

Я снова посмотрел на вторую строфу.

— Почему именно батискаф?

Он пожал плечами.

— Чтобы нырнуть поглубже.

— А без него нельзя?

— Там давление. Можно не выдержать.

— Значит, батискаф тебя защищает?

— Да.

Я покачал головой.

— Мне теперь кажется, что он делает кое-что ещё.

Он посмотрел вопросительно.

— Возвращает того, кто ушёл в отпуск.

— Кого?

— Твой внутренний голос. Того, кто раньше говорил, где остановиться.

— Он вернётся?

— Да. Но уже не в прежнем виде.

— А в каком?

— Раньше он пытался удерживать тебя сверху: запрещал, предупреждал, прикрывал всё улыбчивостью и принятием. А теперь вы вместе решаете спуститься вниз.

Он задумался.

— Значит, батискаф — это он?

— Скорее, это то, что вы построили вместе. Чтобы больше не терять друг друга.

Он снова перечитал:

— «Ты сам себе палач, топор и плаха».

— Жестоко.

— А разве не так?

— Иногда так. Но будь осторожнее. Человек, который решил спасти себя, легко может превратиться в собственного мучителя.

— Но гниющую руку нужно отрубить.

— Иногда. Но сначала стоит убедиться, что она действительно гниёт, а не просто болит.

Он нахмурился.

— Какая разница?

— Огромная. Больную часть можно вылечить. Отсечённую уже не вернёшь.

— Тогда что именно я должен отрубить?

Я помолчал.

— Не себя. Способ, которым ты с собой обращаешься.

— Алкоголь?

— И его, если он становится способом исчезнуть.

— Наркотики?

— Тоже.

— Те отношения?

— Возможно. Но главное — привычку считать, что твоё тело, время и достоинство можно бесконечно отдавать в обмен на несколько часов облегчения.

Он опустил глаза.

— Я ведь правда думал, что мне становится легче.

— Знаю.

— А становилось?

— На несколько часов. Потом ты возвращался ещё дальше от себя, чем был до этого.

Он замолчал.

— Почему я плакал перед зеркалом?

— Потому что впервые увидел не обстоятельства. Себя.

— Разве раньше я себя не видел?

— Ты видел отражение. Но объяснял его женщинами, разрывом, работой, друзьями, одиночеством. А в тот вечер между вами ничего не осталось. Ни одежды, ни красивой истории, ни оправдания. Только человек и тело, которое он почти довёл до разрушения.

Он долго ничего не говорил.

— Мне стыдно.

— Мне тоже было.

— А сейчас?

— Сейчас скорее больно.

— Это лучше?

— Да. Стыд говорит: «Ты плохой». Боль говорит: «С тобой поступили плохо». Иногда этим человеком был ты сам. Но даже тогда боль оставляет возможность изменить отношение.

Он снова посмотрел на стихотворение.

— Я написал, что после погружения буду чист и нов.

— Да.

— Это неправда?

— Не совсем. После одного погружения ты не станешь новым человеком.

— Тогда зачем нырять?

— Чтобы перестать каждый раз принимать дно за место, где жизнь заканчивается. Иногда от него можно оттолкнуться.

— Ты оттолкнулся?

— Тогда — да. Но потом приходилось нырять ещё много раз.

Он усмехнулся.

— Значит, ничего не закончилось.

— Ничего важное обычно не заканчивается одним обещанием возле зеркала.

— Тогда моё обещание было бессмысленным?

— Нет. Ты выбрал направление, а не финишную точку.

Он повторил это про себя.

— Направление…

— Именно.

— А «Лабиринт»?

Я поднял на него глаза.

— Откуда ты знаешь?

— Ты сам только что вспомнил.

Он улыбнулся.

— Что это?

— Альбом, который ты запишешь через несколько лет.

— Музыкальный?

— Рэп.

Он рассмеялся.

— Я?

— Ты.

— И о чём он?

— О том, что найдёшь здесь.

Я указал на строки о тёмных пещерах.

— Получается, батискаф всё-таки доплывёт?

— Доплывёт.

— И что будет на дне?

— Ты.

— Только я?

— Этого вполне достаточно, чтобы испугаться.

Он перестал улыбаться.

— А чтобы выбраться?

— Тоже ты. Но не только.

— Кто ещё?

— Друг, который выдержит тебя тогда, когда ты почти перестанешь выдерживать себя. Люди, с которыми научишься говорить. Терапевт. Жена, с которой однажды начнёшь строить совершенно другие отношения. Музыка. Стихи.

— Значит, строка «ты — твой лучший друг» неправильная?

— Нет. Просто лучший друг не обязан быть единственным.

Он помолчал.

— А ты теперь хорошо с собой обращаешься?

Я не ответил сразу.

— Лучше.

— Но всё ещё позволяешь другим кататься по себе?

— Иногда.

— Тогда мы мало чему научились.

— Мы научились замечать это раньше.

— И всё?

— Пока да.

Он выглядел разочарованным.

— Четыре года ради этого?

— Иногда четыре года нужны, чтобы увидеть паттерн на несколько минут раньше, чем прежде. Эти несколько минут могут изменить очень многое.

Он снова перечитал последнюю строфу.

— Почему мрак просветляет?

— Потому что показывает контраст.

— То есть без темноты не бывает света?

— Свет бывает. Но человек, долго проживший во мраке, замечает его иначе.

— Тогда всё это было нужно?

Я вздохнул.

— Я не знаю. И теперь осторожнее с этой фразой. Не всё случившееся обязано быть нужным, чтобы из него можно было что-то вынести.

— Значит, я мог не проходить через этот год?

— Возможно.

— И стать тем же человеком?

— Нет. Другим. Не обязательно хуже. Не обязательно лучше. Просто другим.

Он задумался.

— Ты жалеешь?

Перед глазами снова возникло зеркало. Синяки под глазами. Голые стены. Тридцатое декабря. Человек, который впервые рыдал не о том, что его бросили, а о том, что сам бросил себя.

— Да.

— О чём?

— Что слишком долго не слышал тебя.

— Меня?

— Того, кто ещё до всего этого оставлял мне записки. «Не бойся». «Ты здесь командир». «Отправляйся в дорогу». «Ты — твой лучший друг». Ты строил маяки, ещё не понимая, что однажды мне придётся искать по ним путь домой.

Он посмотрел на меня совсем иначе.

— Нашёл?

— Не окончательно.

— Опять направление, а не финиш?

— Опять.

Он улыбнулся.

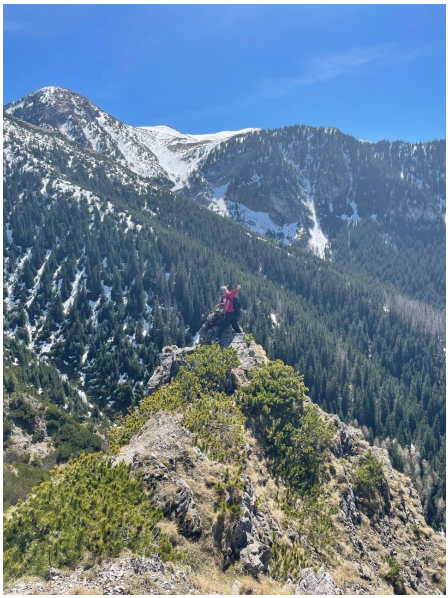
— Тогда, может, нырнём ещё раз?

Я посмотрел вниз. Туда, где по-прежнему оставались неисследованные пещеры.

— Давай. Только теперь не в одиночку.

ГЛАВА 12

Горы



Иногда, чтобы вернуться к себе, не обязательно погружаться в темноту. Можно вспомнить место, где однажды было спокойно.

Мы всегда мечтали побывать в горах, смотрели фотографии, представляли, как оно там, и при любой возможности старались выбраться — ездили на машине, брали палатку, останавливались в лагерях, спали среди деревьев, камней и холодного воздуха.

Сначала мне казалось, что именно об одной из таких поездок я и написал это стихотворение. Но память снова начала поправлять меня по ходу

рассказа. Нет — оно родилось не в горах. Оно появилось на берегу Балтийского моря.

К тому моменту мы с женой снова сошлись. После всего произошедшего пытались соединить отношения заново и однажды отправились к морю вместе с её друзьями. Не моими. Отдых должен был стать чем-то лёгким: море, песок, люди рядом, разговоры. Но в процессе начали возникать разные дискомфортные ситуации — какие-то слова, реакции, то, как мы взаимодействовали друг с другом в присутствии остальных. Старые паттерны никуда не исчезли только потому, что мы решили начать заново.

А я уже пообещал себе, что больше не позволю обращаться со мной как угодно, не дам себя в обиду. Но между защитой себя и очередным внутренним конфликтом оставалось очень мало пространства. Можно было снова провалиться в раздражение, начать следить за каждым жестом, словом, каждым проявлением неуважения — настоящим или только так воспринятым.

Мне срочно требовалось найти уединение. Не физическое — вокруг были люди, и уйти от них полностью я не мог. **Мне нужно было уединение внутреннее.**

Я лежал на песке. Рядом шумело море, кто-то разговаривал, кто-то смеялся, отдых продолжался. А я закрылся внутри и решил вспомнить горы. Не убежать туда навсегда, не сделать вид, будто происходящего вокруг нет. Просто на несколько

минут вернуть себе то состояние, которое они когда-то подарили. Вспомнить облака, старые вершины, деревья, ручьи, солнце, соловья — тот мир, который ничего от меня не требовал.

В «Батискафе» движение было направлено вниз: нужно было спуститься в тёмные пещеры сознания и посмотреть на то, чего я избегал. Здесь происходило обратное. Я растворялся во внешнем мире настолько, чтобы внутренний шум хотя бы ненадолго стих. Наверное, это тоже один из способов возвращения к себе. Не всегда нужно исследовать боль. **Иногда нужно вспомнить красоту.**

Стихотворение получилось почти полностью наблюдательным — без тяжёлых вопросов, без обвинений, без попытки найти окончательную истину. Облака превратились в жеребцов, горы — в старцев, деревья — в щетину, снег — в сметану, соловей — в Паваротти. Я как будто специально позволял себе смотреть проще: не объяснять, не искать скрытые причины, не разбирать собственное состояние на части. Только видеть. Из звуков и красок постепенно собирался мир, в котором можно было немного отдохнуть.

А в конце появилась странная строка: «Любовь — ключи к ячейкам банка». Раньше она могла показаться случайной — почему вдруг банк среди гор, ручья, солнца и птиц? Теперь мне кажется, я искал место, где можно хранить пережитые состояния. Не деньги, не вещи, а минуты, в

которые действительно чувствовал себя живым и спокойным. Каждая поездка, каждый вид, каждое утро в горах — как будто становились вкладом. А потом в нужный момент можно было открыть ячейку и забрать оттуда немного тишины.

Именно это я сделал тогда на Балтийском море. Лежал на песке, слышал людей вокруг, а внутри открыл одну из ячеек. И оказался в горах.

— — —

Горы

Бегут над нами жеребцы,
Хвостами гладя неба своды.
И горы, старцы-мудрецы,
Молчат, отсчитывая годы.

Деревья будто бы щетина,
Качает ветром взад-вперёд.
Как мастер кистью над картиной,
Над ними кружит вертолёт.

И солнца яркого лучи
Ласкают, как рукою мама.
Весны предвестники — грачи.
Снег на вершинах, как сметана.

Лесною змейкою ручей
Бежит, петляя между сосен.
И Паваротти-соловей —
Его на бис всё время просят.

Из звуков, красок соткан мир.
Природа — скатерть-самобранка.
Создатель — мастер-ювелир.
Любовь — ключи к ячейкам банка.

— — —

Я снова перечитал последнюю строку.

— Почему банк?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Так пришло.

— А что лежит в этих ячейках?

— Любовь.

— Это понятно. Но в каком виде?

Он задумался.

— Воспоминания?

— Возможно.

— О людях?

— Не только.

Я посмотрел на него.

— Ты ведь писал это не в горах.

— Как не в горах?

— На Балтийском море.

Он удивился.

— Я не помню.

— И я сначала не помнил. Там были люди, друзья жены, какие-то неприятные ситуации. Тебе нужно

было срочно найти место, где никто не сможет тебя задеть.

— И я вспомнил горы?

— Да.

— Значит, я просто сбежал?

— На несколько минут.

— Разве это хорошо?

— Иногда побег и передышка выглядят одинаково. Разница становится понятной позже.

— И что это было?

— Думаю, передышка. Ты не ушёл навсегда, не бросил всех на пляже. Просто попытался вернуть себе внутреннее пространство.

Он посмотрел на первую строфу.

— Получается, этих жеребцов надо мной тогда не было?

— Были другие облака. Балтийские. Но смотрел ты на них через горное воспоминание.

— Значит, стихотворение врёт?

— Нет. Оно показывает не то, где находилось твоё тело, а то, где в тот момент находился ты.

Он немного помолчал.

— Странно. Мы приехали к морю, а я написал про горы.

— Потому что человеку не всегда нужно то место, где он оказался. Иногда ему нужно состояние, которое хранится совсем в другом месте.

Он снова прочитал:

— «Любовь — ключи к ячейкам банка».

— Вот теперь слышишь?

— Кажется. Горы лежали в одной из ячеек?

— Скорее, не горы. То, каким ты был рядом с ними.

— Спокойным?

— Внимательным. Не занятым бесконечным выяснением, кто и как к тебе относится. Ты просто смотрел.

— А любовь при чём?

— Возможно, она и позволяет сохранять такие состояния.

— Любовь к природе?

— К природе. К человеку. К себе. К самой жизни в те редкие секунды, когда не пытаешься её исправить.

Он задумался.

— Значит, воспоминания можно использовать как лекарство?

— Иногда. Но с ними тоже нужно быть осторожным.

— Почему?

— Можно вспоминать место, чтобы вернуться к себе. А можно — чтобы никогда больше не встречаться с настоящим.

— Как понять разницу?

— После хорошего воспоминания ты возвращаешься в текущую жизнь немного спокойнее. После бегства хочется остаться в прошлом навсегда.

Он оглянулся, словно снова увидел пляж.

— Я вернулся?

— Да.

— И стало легче?

— На какое-то время.

— А ситуации с людьми разрешились?

— Не все.

— Тогда какая польза?

— Ты не обязан решить всё сразу, чтобы несколько минут покоя имели значение. Иногда этих минут достаточно, чтобы не сделать больнее себе или другому.

Он кивнул.

— Я ведь говорил, что больше не дам себя в обиду.

— Да.

— И сдержал?

Я помолчал.

— Ты начал учиться.

— Опять только направление?

— Опять.

Он вздохнул.

— Во всех наших разговорах ничего не заканчивается.

— Потому что жизнь не очень любит окончательные формулировки.

— А стихотворение заканчивается.

— Текст — да. Состояние, которое в нём сохранено, можно открыть снова.

Он посмотрел на меня внимательнее.

— Как банковскую ячейку?

— Именно.

— А сейчас ты ещё умеешь туда возвращаться?

Перед глазами возникли уже другие горы. Гималаи. Ринджани. Палатки на высоте. Тяжёлый рюкзак. Боль в спине. Усталость. Облака под ногами.

— Теперь я накопил больше.

— Больше гор?

— Больше состояний. Не все они спокойные. Иногда горы — это холод, тяжесть и желание скорее спуститься.

— Тогда они перестали быть лекарством?

— Нет. Просто стали настоящими. В пятнадцати минутах воспоминания легко оставить только красоту. В четырёх днях похода приходится встретиться и с собственным телом, и с усталостью, и с раздражением.

— Тебе всё ещё нравится туда ходить?

— Да.

— Почему?

— Потому что там сложнее притворяться. Рюкзак тяжёлый — значит, тяжёлый. Спина болит — значит, болит. Вершина далеко — значит, далеко. Горы не интересует, насколько красиво ты объяснишь своё состояние.

Он улыбнулся.

— А это стихотворение очень красивое.

— Да. Тогда мне именно это и требовалось.

— Красота вместо правды?

— Красота тоже бывает правдой. Просто не единственной.

Он снова посмотрел на вертолёт, соловья и снег, похожий на сметану.

— Здесь всё какое-то детское.

— В хорошем смысле. Ты разрешил себе смотреть без подозрения, что за каждым образом обязательно скрывается травма.

— И это сработало?

— Ты написал первое почти безмятежное стихотворение. Значит, хотя бы на время — да.

Он помолчал.

— Что важнее: спускаться на батискафе или уходить в горы?

— Не знаю. Иногда нужно увидеть темноту. Иногда вспомнить свет.

— А если перепутать?

— Тогда можно бесконечно копаться в себе, когда пора просто выйти наружу. Или бесконечно любоваться пейзажем, когда внутри уже давно требуется помощь.

— Как понять, что нужно сейчас?

— Учиться слышать.

Он усмехнулся.

— Очень конкретный совет.

— Другого пока нет.

Мы оба ещё раз перечитали последнюю строфу.

— Получается, ты до сих пор пользуешься теми ключами?

— Да.

— И что сейчас откроешь?

Я закрыл глаза. Балтийское море постепенно исчезло. На его месте возникла горная долина. Над ней бежали облачные жеребцы. Старцы-мудрецы молчали, отсчитывая годы.

— Эту ячейку.

— Чтобы спрятаться?

— Нет. Чтобы немного побыть дома.

ГЛАВА 13

Прошу, уймись

Осознать необходимость изменений и измениться — процессы, иногда растянутые друг от друга на годы.

Иногда кажется, что достаточно увидеть свою проблему и в следующий раз просто поступить иначе. Но человек не перестраивается от одного понимания, особенно если он состоит из огромного количества реакций, которые годами помогали ему выживать — пусть криво, пусть причиняя боль. Психотерапия тоже не приносит волшебной формулы: решение всё равно придётся принимать самому. **А между словами «теперь я понимаю» и первым действительно новым поступком иногда пролегает несколько лет.**

Именно об этой дистанции написано стихотворение. Я уже видел свои затыки, понимал, какие реакции приводят меня в одно и то же место — но совершенно не понимал как. Поэтому первые слова звучат не как приказ, а как просьба: «прошу, уймись». Я обращаюсь к сердцу, которое стучит о рёбра в темноте и неволе — не требуя, чтобы оно замолчало окончательно, а желая, чтобы оно начало хотеть рассветов, а не только кричать через боль.

Я тогда находился под впечатлением от книг Джо Диспензы — мысли, что нужно перестать бесконечно воспроизводить прежнего себя. Звучит

ясно, но как это сделать не в книге, а в живой психике? Поэтому свободное падение в стихотворении заканчивается не полётом, а ударом о принятие — а принять не значит красиво всё объяснить и мгновенно успокоиться. **Иногда принятие ощущается именно как столкновение с землёй,** и после него может наступить апатия — потому что расстаться с собой прежним непросто.

Воля и Свобода в тексте — сёстры-близняшки, которые стучатся в окна, надеясь, что их заметит Надежда. Надежду часто обвиняют в том, что она расслабляет вместо работы, но в самые холодные периоды она оставалась единственной одеждой. Хотя одной надежды мало — легко спрятаться за образом доброго человека, маленького Иисусика, который всех прощает и никогда не злится. Но если Бог действительно способен войти внутрь человеческого храма, внешняя чистота его не обманет: он увидит ложь, подавленную ярость, потребность быть хорошим, чтобы заслужить любовь. **Помочь может только дело — не бесконечная загрузка задачами, а работа плечом к плечу с людьми, при свете.**

В финале появляется Человечность — не в гуманистическом смысле доброты, а как настоящая противоречивая природа человека. Выпустить её из клетки значит позволить себе быть живым, а не только хорошим: злиться вовремя, ошибаться, замечать это. Более грешен, возможно, не тот, кто однажды сорвался, а тот, кто

ни разу так и не разрешил собственной живой природе выйти наружу.

— — —

Прошу, уймись

Прошу тебя, уймись и не стучи уж боле
Об эту рёберную клетку, в темноте, в неволе.
Начни хотеть рассветов сонных, ранних
И встреч хотя бы не последних — только крайних.

Закатов — когда солнце спать ложится в поле…
Стучи, кричи, но уж теперь без мучающей боли…
И без истерик полуночных, громких, с нецензурным текстом.
Зачем потом залечивать всё это пьяным сексом?

В тетрадь швырять обглоданные кости слов.
Не нужно света, воздуха, ни даже тех забытых снов…
Свободного падения до смачного удара о принятие.
Потом апатия… с креста уж столько лет никак не снять её…

Близняшки-сёстры Воля и Свобода,
Бедняжки, просятся, стучатся год от года…
Маячат в окнах — чтоб заметила Надежда.
Она одна в морозы лютые — единственной одеждой

Тебя, слепого и озябшего невежду,
Спасает нынче, как не раз спасала прежде,
Не от кого-то — а от страшного себя же самого.
Дороже ней не будет никого.

Всё будет — и триумфа долгожданная отрада.
Да только вот кому нужна ненужная бравада?
Фальшивое притворство добродея.
Наврать с три короба себе, ни капли не краснея,

Разбрасывая жемчуг перед розовым пушистым рыльцем,
И лезть куда ни попадя, воспользовавшись мыльцем.
Пусть даже импортным, пусть даже вкусно пахнет —
Войдя в твой дом, Господь невольно ахнет

И скоро-наскоро умчится восвояси.
Заплачет кровью Матерь на иконостасе.
И не откупишься слезами и мольбами — только делом,
Трудом, плечом к плечу с людьми при свете белом,

Покамест не пробудишься однажды
Способным наблюдать Единость в каждом.
Уметь котлеты отделить от стаи мух,
Способным чувствовать свободный вечный дух

И воспевать его в рабочих буднях трудных,
Не страшиться прихода всех мероприятий

судных.
И боле грешен будет, кто ни разу в Вечность
Не выпустил из клетки Человечность…

— — —

— Кого ты просишь уняться? — спросил я.

Он приложил ладонь к груди.

— Сердце. Хочу, чтобы оно перестало болеть, а не стучать.

— А разве можно оставить стук и убрать боль?

— Я надеялся. Не знаю, получилось ли — это ты мне скажи.

Я положил руку на собственную грудь.

— Оно всё ещё иногда бьётся о рёбра. Но теперь я чаще понимаю, о чём оно стучит — не одинаковым «нужно потерпеть», а по-разному: «мне страшно», «мне больно», «я не хочу быть здесь».

Он опустил глаза.

— Я ведь всю жизнь терпел и называл это силой.

— Терпение перестаёт быть добродетелью, когда используется для предательства себя. Ты хотел войти в новый день кем-то новым.

— Вошёл?

— Тем же человеком. Но уже заметившим, что повторяет старое. Для нового дня этого достаточно. Для новой жизни — нет.

— Тогда сколько нужно?

— Не знаю. Год. Четыре. Иногда — всю жизнь.

Он раздражённо выдохнул.

— В чём тогда смысл осознания?

— В том, что раньше реакция происходила, а ты считал её собой. Теперь появляется несколько секунд между импульсом и поступком. Иногда именно в них и находится свобода.

Он посмотрел на строки о сёстрах-близняшках.

— Они просто стоят в окне?

— Пока не научишься открывать. Надежда не откроет — она только помогает не уйти от окна раньше времени.

— Значит, всё-таки нужно действие?

— Да. Не то, в которое убегаешь, чтобы ничего не чувствовать, а способность сказать «нет», когда хочется привычно согласиться. Остаться рядом с чувством и не залить его алкоголем, сексом, очередной задачей.

Он поморщился.

— Звучит скучно.

— Настоящие изменения вообще выглядят не очень кинематографично. А вот свободное падение и удар о принятие — кинематографичные. Потом апатия, потому что ты думал, что после принятия сразу начнётся новая жизнь. А иногда после него просто заканчивается старая, и некоторое время ничего нет.

Он тихо повторил: «с креста уж столько лет никак не снять её».

— Ты тащил апатию как доказательство своей боли. Стоит признать, что она существует, и попробовать понять, что под ней — иногда злость, иногда усталость от того, что слишком долго жил не своей жизнью.

— А иногда просто лень?

— И она тоже. Не всё обязано быть глубокой травмой, — усмехнулся я, и он неожиданно рассмеялся.

— Наконец-то. Боялся, что ты любую мою дурь объяснишь детством.

Он снова перечитал середину стихотворения.

— Почему я так злюсь на добродетеля?

— Потому что узнаёшь его в себе. Ты действительно помогал людям — но иногда помогал, чтобы не показать настоящего себя, чтобы тебя считали хорошим.

— И что, нужно было всем говорить, что они ублюдки?

— Не обязательно всем и не обязательно этими словами. Но хотя бы самому себе не врать — выбирать, что делать с правдой, а не выдавать внутреннее «нет» за искреннее «да».

Он подумал.

— Получается, хорошесть — тоже клетка?

— Если без неё ты боишься остаться без любви — да.

— А человечность тогда что?

— То, что остаётся, когда больше не обязан выглядеть святым. Злость, зависть, страх — это делает тебя человеком, а не хуже. Хуже или лучше тебя делают не сами чувства, а то, как ты с ними обходишься.

Он снова прочитал финал.

— Я думал, человечность — это быть добрым.

— А теперь?

— Быть настоящим?

— Ближе. Хотя настоящее тоже не всегда нужно немедленно вываливать на окружающих.

— Ты опять всё усложняешь.

— Потому что ты хотел одной формулой заменить живую работу. Формулы нет. Психотерапия только помогает увидеть, где именно ты каждый раз начинаешь жить автоматически — а поступок всё равно твой.

Он замолчал надолго.

— Я ведь уже всё понимаю. Почему тогда всё ещё не изменился?

— Потому что понимание — это карта. А изменение — путь ногами. Иногда один шаг. Иногда годы.

Он посмотрел на эпиграф.

— Это ты сейчас понял, или мы вместе?

— Мы. Ты тогда почувствовал расстояние. Я теперь смог назвать его — хотя через десять лет назову иначе. Окончательные ответы теперь пугают меня

сильнее, чем их отсутствие.

Он улыбнулся краем рта.

— А сердце унялось?

Я прислушался. Оно всё ещё стучало — не особенно ровно, не вполне спокойно. Но уже не казалось пленником, бьющимся о стены.

— Нет. Но оно начало хотеть рассвета. Сонного. И встреч — не последних, только крайних.

Он кивнул.

— Именно.

ГЛАВА 14

Декабрь

Иногда человеку не нужна новая мудрость. Нужно включить отопление, поесть, лечь не на холодный пол, а в постель. Но в тот вечер я этого ещё не понимал.

Это было тридцатого декабря. Я только вернулся в квартиру после того странного года, о котором написал в «Батискафе». Почти всё уже исчезло — комнаты стояли голые, с холодным полом и длинными французскими окнами, которые зимой плохо держали тепло. Отопление я включал редко — денег почти не оставалось. Но в тот день пошёл ещё дальше: принял холодный душ и лёг почти голым на пол.

Сейчас я понимаю: **мне хотелось себя покарать** — за разрушенные отношения, за тот год, за собственное тело, до которого я довёл себя сам. Будто человек, который так распорядился своей жизнью, не имеет права просто включить отопление и укрыться одеялом.

В комнате горела свеча — единственное, что тогда горело, внутри огня почти не осталось. Я сидел и пытался найти формулу, способную объяснить всё случившееся. Можно было рассуждать, что всё большое находится в малом, чувствовать себя мудрецом посреди пустой квартиры. Но сердце от этой мудрости теплее не становилось. Разум мог понять многое. Тело

продолжало мёрзнуть. **Мне впервые следовало опуститься с духовного уровня на самый простой: сначала согреть, накормить, напоить.** Мы очень легко романтизируем страдание — холодная квартира превращается в келью, самонаказание в очищение. Хотя, возможно, просто нужно было надеть носки.

Именно холодный пол каждый раз возвращал в реальность — не великая мысль, не Бог, а пол. Среди немногочисленных вещей в квартире появился чайник, показывающий температуру воды, — странная покупка для человека почти без денег, но, кажется, это была одна из первых вещей, купленных не по инерции, а для себя нового. Среди пустых комнат появился первый предмет заботы.

Фонари в окне будто говорили: «тебе бы не кофе, а любви глоток». Тогда мне хотелось любви другого человека — Марины. Но спустя годы эта строка звучит иначе: **мне действительно требовалась любовь, в том числе самая элементарная — к самому себе.**

Финал кажется почти открыткой — «счастливый тот, кто жизнь живёт в моменте». Но тот момент не был радостным: мне было больно, холодно, одиноко. И всё же именно тогда появилось нечто похожее на первый проблеск счастья — простое ощущение, что я всё ещё жив и не убегаю от этого вечера. Жить в моменте — не значит наслаждаться им. Иногда это значит впервые перестать убегать

от боли.

— — —

Декабрь

Декабрь тихо грузом лёг на плечи,
Стряхнув с небес блестящую пыльцу.
Всё чаще вечером я зажигаю свечи,
Сижу, подолгу думая, подобно мудрецу.

«Ты не один, нас много», — тишина шептала,
А огонёк поддакивал, растапливая воск.
Той мудростью, что всё большое в малом,
Согреть бы сердце, а не только мозг.

Прозрачный щит держал атаки ветра,
Не пропуская в дом незримого врага.
И снег с дождём в земли врезались недра,
Как разбивает грязь подошва сапога.

Холодный пол вернул меня в реальность.
Свет струйкою тонкою сочился в темноту.
Ну как же отыскать желания малость?
О мир, как обрести былую радость ту?

Треск пузырьков воды в сосуде с носом
Внимание привлёк, назойливый свисток.
И фонари в окно поглядывали косо:
«Тебе б не кофе, а любви глоток!»

Счастливый тот, кто жизнь живёт в моменте
И никого не хочет убеждать.

Бесценен каждый кадр в киноленте.
Мечтай, твори, не стоит вечно ждать.

— — —

— Ты действительно чувствовал себя мудрецом? — спросил я.

— Нет, — усмехнулся он. — Но много думал.

— Иногда человек думает, чтобы что-то понять. А иногда — чтобы не чувствовать. Тебе было холодно, и вместо того чтобы включить отопление, ты рассуждал, что всё большое в малом.

— Денег не было.

— Знаю. Но холодный душ ты принял сам. На пол лёг тоже сам. Ты хотел почувствовать момент — или наказать себя?

Он не ответил сразу. В комнате будто снова стало холоднее.

— За всё, — наконец сказал он.

— Так не бывает. Невозможно быть виноватым сразу во всём.

— Но я всё разрушил, мог поступить иначе.

— Мог. Только ответственность и наказание — не одно и то же. Тебе нужно было согреться.

— И это бы всё исправило?

— Нет. Но позволило бы разбираться с жизнью не из состояния человека, который специально доводит себя до изнеможения. «Согреть бы сердце,

а не только мозг» — ты сам это написал в переносном смысле. А тело поняло буквально.

Он помолчал.

— Значит, я опять всё усложнил — искал духовный ответ там, где сначала требовалась простая забота?

— Именно. Иногда тарелка горячего супа возвышеннее ещё одной книги о просветлении.

Он рассмеялся, потом посмотрел на чайник.

— Почему ты сделал из него символ?

— Потому что среди почти пустой квартиры это была вещь, которую ты выбрал с вниманием к себе. Какая-то часть тебя уже знала, что жизнь не закончилась. Желание выбрать хороший чайник иногда значит больше, чем громкое обещание начать всё заново — обещание относится к воображаемому будущему, а чайник уже стоит на кухне.

— Действие, — кивнул он.

— Маленькое. Но настоящее.

Он перечитал строку про любовь.

— Это было про Марину?

— Думаю, да. Хотя сейчас я бы сказал — и про любовь к себе. Тогда ты ещё ждал, что согреть тебя должен кто-то другой. Если всё тепло находится только у него, его уход превращает твою жизнь в неотапливаемую квартиру.

— Значит, нужно не нуждаться ни в ком?

— Нет. Научиться не превращать другого человека в единственный источник тепла.

Он снова посмотрел на холодный пол.

— Я ведь действительно был счастлив в тот момент. Как можно быть счастливым, когда так плохо?

— Потому что счастье и боль не всегда исключают друг друга. Ты сам сказал: впервые начал радоваться тому, что живёшь и по-настоящему проживаешь свои ощущения.

Он закрыл глаза.

— Я помню. Свеча, фонари, вода закипает, снег с дождём. И холод.

— Ты бы снова лёг на этот пол?

— Не знаю. А ты?

— Нет. Теперь понимаю: присутствовать в собственной боли не означает усиливать её специально.

— Но без этого вечера появился бы «Батискаф»?

— Не знаю. Я всё меньше верю, что страдание нужно оправдывать последующими произведениями. Стихотворение хорошее. Это не делает холод необходимым.

— Значит, всё было зря?

— Нет. Но и нужно не было. Не всё пережитое обязано быть необходимым, чтобы стать частью тебя.

— Что тогда с ним делать?

— Не строить храм. И учиться — хотя бы тому, что тело нельзя использовать как место исполнения приговора.

Он снова положил ладонь на пол.

— Оно выдержало. Значит, сильное.

— Не поэтому. Тело часто выдерживает то, чего никогда не должно было выдерживать. Его выносливость не даёт нам права продолжать испытание.

Он убрал руку.

— Ты теперь заботишься о нём?

Перед глазами возникли бассейн, пробежки, горы, больная после Ринджани спина.

— Учусь. Опять направление, а не финиш.

Он вздохнул.

— Ты вообще когда-нибудь куда-нибудь приходишь?

— Иногда. А потом оказывается, что это была следующая точка старта. «Мечтай, твори, не стоит вечно ждать» — ты и тогда это знал.

— Почему же продолжал ждать?

— Потому что знать и сделать — процессы, иногда растянутые друг от друга на годы.

Он ещё раз посмотрел на комнату.

— Что бы ты сделал, оказавшись там сейчас?

Я представил холодный пол, свечу, пустые стены.

— Сначала включил бы отопление. Хотя бы ненадолго. Потом заварил чай при правильной температуре.

— И что бы сказал мне?

— Ничего мудрого. Укутался бы вместе с тобой в плед и подождал, пока ты согреешься. А потом можно и поговорить.

Он ненадолго замолчал.

— Значит, любовь всё-таки пришла? Марина?

— И она. И тот человек, которого ты тогда оставил мёрзнуть на полу, однажды вернулся за тобой.

Он посмотрел на меня.

— Ты?

— Я.

— Долго же ты шёл.

— Зато принёс чай.

Он улыбнулся.

— Тогда садись. Вода как раз закипела.

ГЛАВА 15

Тюрьма

Не все стихотворения рождаются из нового события. Жизнь вроде бы даже начинала налаживаться: отношения восстановлены, появилась новая работа — я наконец решился уйти с прежней, где старые способы поведения не позволяли выстроить нормальные отношения с людьми.

К тому времени я проходил курс, связанный с медитацией и внутренней работой, и начал нащупывать внутри отдельные инстанции — замечать, что страх, злость, тревога живут по своим правилам и перехватывают управление так, что вечером понимаешь: тебя в этом дне почти не было.

Я написал «Тюрьму» не из-за очередного потрясения, а потому что старая мысль наконец получила более точное имя. Осознанность редко приходит одним озарением — **одна и та же мысль возвращается годами, каждый раз с другого уровня.** Сначала понимаешь: «мне страшно». Потом: «страх мешает мне жить». Ещё позже: «я сам поддерживаю систему, в которой он мной управляет». И однажды спрашиваешь: а кто здесь вообще заключённый?

В стихотворении я представляю, что построил тюрьму для тревог и страхов — всё опасное заперто, я снаружи, они внутри. Но ответ пришёл

только спустя годы: **не они были моими заключёнными. Я был их узником.** Мне казалось, что я построил тюрьму, а на деле жил внутри неё, исполняя обязанности охранника — подавлял, стыдился, а потом не понимал, почему сам превращаюсь в дикого зверя. Чем жёстче человек запирает собственные чувства, тем неожиданнее они однажды выходят.

Поэтому охотника звать не нужно, и топор войны лучше закопать — война с самим собой редко заканчивается победой. Я уже писал в «Мирах»: заметьте, поводырь, не конвоир. Не обязательно всю жизнь проверять, хорошо ли заперты страхи — иногда разумнее открыть дверь, не чтобы чувства захватили всё, а чтобы перестать тратить жизнь на их охрану. Последняя строфа строится на тавтологии: «страхи больше в страхе не держи» — мы боимся не только событий, но и самого появления страха, тревожимся, что начнём тревожиться.

И всё же в конце я называю их миражами — сейчас отнёсся бы к этому осторожнее. Страхи придуманы не всегда: иногда опасность реальна, гнев защищает границу. Но система вокруг них может быть миражом — убеждение, что одна ошибка уничтожит всю жизнь. Главное изменение того периода было не в самом стихотворении: впервые внутреннюю работу меня заставлял продолжать не очередной крах, а собственный выбор. **Раньше копать заставляла боль. Теперь я начал делать это добровольно.**

— — —

Тюрьма

Так велика была во мне обида,
Что даже и не сразу разглядел.
Я попросил своего внутреннего гида
Сводить туда, где правит беспредел.

Тюрьму построил — просто загляденье.
Я в ней подальше спрятал всё от глаз.
Тревоги, страхи, гнев и сожаленья
Заключены в неволю в личный Алькатрас.

Но узники ль они? Ответ неясен…
Там на ночь иногда не запирают дверь.
Тогда весь следующий день ужасен,
И вместо человека — дикий зверь.

Охотника на помощь звать не нужно,
И лучше закопать топор войны.
Себя собой самим нам убивать не чуждо.
И приговор смешён — виновен без вины.

Так что попроще с ролью конвоира,
И страхи больше в страхе не держи.
Шепни на ушко им: «Друзья, идите с миром».
Поймёшь потом — всё это миражи.

— — —

— «Но узники ль они?» — прочитал я.

— Не знаю. Потому и спрашиваю, — ответил он.

— Теперь знаю. Нет. Они не узники. Ты — узник. Ты построил тюрьму, чтобы запереть всё, чего в себе боялся, а потом остался сторожить.

— Но я могу уйти.

— Можешь. Только боишься, что дверь останется открытой.

Он посмотрел на воображаемые камеры.

— А если они выйдут?

— Они и так выходят каждый день — просто ты называешь это своим характером. Злишься на человека и думаешь, что он заслужил именно такую реакцию. Боишься отказа и называешь это осторожностью.

— А если я действительно понимаю людей?

— Иногда понимаешь. Но страх умеет очень убедительно говорить твоим голосом.

— Тогда как отличить?

— Не сразу реагировать. Иногда несколько секунд, иногда ночь. А если решение нужно принять сейчас — придётся ошибаться. Ни одна внутренняя работа не даёт гарантии правильного решения. Она увеличивает шанс, что решение примешь ты, а не автоматическая реакция.

Он снова прочитал: «там на ночь иногда не запирают дверь».

— Значит, лучше запирать?

— Нет. Лучше перестать строить отношения с чувствами как с преступниками. Если их

выпустить и просто отвернуться — будет хаос. Но между заключением и полной бесконтрольностью есть разговор.

— С тревогой?

— Спросить, чего она боится. Гневу — что он защищает. Сожалению — что ещё можно исправить, а с чем придётся жить.

— Они ответят?

— Не обязательно словами. Иногда телом, желанием уйти. Слушать — не значит подчиняться. Решение всё равно принимаешь ты. Не конвоир — поводырь.

Он улыбнулся.

— Опять «Миры». Значит, я повторяюсь?

— Человек редко меняется после одной удачной формулировки. Он возвращается к ней, пока однажды не начинает жить хоть немного иначе. Ты ведь уже начал — сменил работу, не дожидаясь полного внутреннего разрешения.

— Мне просто надоела старая.

— Этого иногда достаточно. Не каждое изменение начинается с великого озарения. Хотя новая работа не избавила тебя от старых реакций — они приехали вместе с тобой.

Он посмотрел на четвёртую строфу.

— «Виновен без вины» — в чём вина?

— В том, что я такой. Злой, обиженный, испуганный.

— А вина?

Он не ответил.

— Вот именно, — сказал я. — Чувство не преступление. Поступки — да, за них стоит отвечать. Но ты судил себя ещё до поступка, за сам факт, что внутри появилось что-то некрасивое. Если выносить себе приговор за каждую мысль, внутренний суд работает круглосуточно, а жить некому.

Он замолчал.

— Значит, просто отпустить их — «друзья, идите с миром»?

— Очень красивая строка. Но некоторые страхи не уйдут после одного вежливого обращения. Иногда придётся жить рядом с ними, без тюрьмы. Мешающий спутник и тюремщик — не одно и то же.

Он перечитал последнюю строку.

— Всё это миражи.

— Не всё. Мираж — это убеждение, что если испугаешься, обязательно проиграешь. Что если разозлишься, станешь плохим человеком.

— Но могло ведь и правда рухнуть.

— Могло. Страх часто строит мираж из реальной возможности — не выдумывает событие полностью, а превращает вероятность в неизбежность.

— И что делать? Проверять, как тестировщик?

Я улыбнулся.

— Именно. Найти сценарий, отделить ожидаемое поведение от фактического.

Он рассмеялся.

— Значит, новая работа пригодилась не только для денег.

Он снова посмотрел на тюрьму.

— А ты сейчас свободен?

— Нет. Но я человек, который иногда замечает решётки раньше, чем начинает считать их частью пейзажа. Иногда выхожу. Потом возвращаюсь — знакомая тюрьма кажется безопаснее незнакомой свободы.

— «Страхи больше в страхе не держи» — что это значит?

— Не бойся того, что боишься. Легко сказать — поэтому пришлось написать об этом ещё раз. И ещё.

— Сколько можно повторять одно и то же?

— Пока однажды не заметишь, что вместо нового стихотворения поступил иначе.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Такое уже случалось?

Я вспомнил уход со старой работы, психотерапию, моменты, когда всё-таки удавалось сказать «нет».

— Иногда.

— Значит, тюрьма открыта?

— Она всегда была открыта.

— Тогда почему мы всё ещё здесь?

Я посмотрел на дверь. Она действительно не была заперта.

— Наверное, ждали, пока кто-нибудь разрешит выйти.

Он поднялся.

— Разрешаешь?

— Нет. Потому что это снова сделает меня твоим конвоиром.

Он понял не сразу. Потом улыбнулся. Сам подошёл к двери. И вышел.

ГЛАВА 16

Живём вчера



Есть стихотворения, которые рождаются после какого-то сильного события. А есть такие, которые появляются почти незаметно. Ничего не рушится, никто не уходит, жизнь постепенно выравнивается. Но внутри время от времени начинают происходить странные прострелы — не из боли, не из отчаяния, не потому, что очередной кризис заставил остановиться, а словно из какого-то нового места внутри. Как будто после долгой внутренней зимы впервые появляются короткие мгновения, когда становится легче дышать. Не навсегда, не окончательно, но достаточно, чтобы захотелось не только

разбираться в жизни, но и просто жить.

Именно в одном из таких моментов появилось стихотворение «Живём вчера». К тому времени мы всё ещё были в Польше. Я уже рассказывал, что сменил работу — это стало одним из первых серьёзных решений, принятых не на эмоциях, а осознанно. Жизнь постепенно собиралась обратно. Но внутренние изменения никогда не происходят так же быстро, как внешние.

Работа появилась, отношения начали выстраиваться заново. Однако привычные реакции ещё долго оставались прежними. Я всё ещё проходил разные курсы, связанные с внутренней работой, учился замечать собственные реакции, смотреть на них чуть спокойнее. Но постепенно стал понимать одну вещь: можно бесконечно заниматься собой, разбирать каждую эмоцию, каждую мысль, каждую обиду, каждую тревогу — **и однажды обнаружить, что всё это время ты настолько старательно лечил свою жизнь, что совершенно перестал её жить.**

Наверное, именно тогда и появилось это стихотворение. Оно получилось очень простым. Сейчас я это особенно хорошо вижу: никаких сложных образов, никаких многоэтажных метафор, никаких спрятанных смыслов. Почти лозунги. «Шагни вперёд». «Начни рассказ заново». «Не замыкай круг». «Живи». Раньше мне казалось, что это даже немного беднее остальных текстов. Теперь думаю иначе. Оно не беднее. Оно

выполняло совершенно другую работу.

Иногда после тяжёлой недели человеку не нужен философский трактат. Ему нужно выйти из дома, погулять, проветрить голову, позволить себе немного подурачиться. Попусоваться, как я тогда сказал. Именно таким мне хотелось сделать это стихотворение — чтобы ничего не приходилось расшифровывать, чтобы не нужно было вспоминать, к какой истории относится тот или иной образ. Чтобы прочитал — и сразу понял. Не потому, что глубины нет. А потому, что в тот момент глубина уже была не нужна. Нужно было движение.

Сейчас меня особенно цепляет последняя строфа. Тогда она казалась обычным ободрением. Теперь я вижу её иначе: «И помни — ты не одинок. С тобою армия друзей». Я ведь писал совсем не о людях, которых тогда уже знал. Наоборот. Мне кажется, я писал о людях, которых мне только предстояло встретить. Они уже существовали где-то в мире. Просто ещё не встретились с настоящим мной. Наверное, человек действительно становится менее одиноким не тогда, когда рядом неожиданно появляются друзья. А тогда, когда постепенно перестаёт прятаться за всем тем, что так долго носил на себе.

— — —

Живём вчера

Живём вчера, но не сейчас,
В надежде что-то изменить.
Собой дополнив серость масс,
Мы всех стремимся научить.

Обиды прошлого забыв,
Шагни вперёд, как в первый раз.
Почувствуй эмоциональный взрыв.
Начни свой заново рассказ.

Ты опиши, то что вокруг –
Природы краски, пенье птиц.
Не замыкай порочный круг
Из вечно недовольных лиц.

Напротив, разорви скорей!
Наполни чашу новизной.
Получишь ключ от всех дверей –
Не стоит биться головой.

Придумай, как пробить ту брешь,
Корабль желчи потопить.
Найдя сознания рубеж,
Начать на всю катушку жить.

Как бабки с дедом колобок,
Шагай вперёд и не робей.
И помни – ты не одинок.
С тобою армия друзей.

— — —

Я посмотрел на него с улыбкой.

— Знаешь… Ты ведь считаешь это стихотворение слишком простым.

Он пожал плечами.

— А разве нет?

— По сравнению с предыдущими?

— Конечно. Никаких тебе лабиринтов, никаких батискафов, никаких внутренних тюрем. Просто какие-то призывы.

— И тебя это смущает?

— Немного.

Я кивнул.

— А если человеку после долгой болезни сказать только одну фразу: «Вставай. Пойдём гулять». Она тоже покажется слишком простой.

Он задумался.

— Но ведь она может оказаться самой нужной.

— Именно.

Некоторое время мы молчали. Потом он снова посмотрел на стихотворение.

— Значит, дело было не в глубине?

— Нет.

— А в чём?

— В необходимости.

Он улыбнулся.

— Забавно. Раньше мне казалось, что чем сложнее текст, тем он лучше.

— Сейчас тоже так кажется?

Он покачал головой.

— Нет. Наверное, форма должна соответствовать состоянию человека.

— Именно.

— Значит, если человеку сейчас нужен один шаг вперёд...

— Не стоит заставлять его сначала разгадывать загадку.

Он тихо рассмеялся.

— А я ведь действительно хотел, чтобы всё было понятно сразу. Без поисков. Без расшифровок.

— Потому что сам устал всё время расшифровывать собственную жизнь.

Он снова замолчал. Потом вдруг ткнул пальцем в последнюю строфу.

— А вот это...

— Что именно?

— «Армия друзей».

— Что с ней?

— Тогда я думал, что это просто красивые слова.

Я покачал головой.

— Нет.

— Нет?

— Ты ведь не про знакомых писал.

Он нахмурился.

— Тогда про кого?

— Про людей, которых ещё даже не встретил.

Он долго молчал.

— Думаешь?

— Уверен.

— Почему?

— Потому что тогда ты ещё только становился собой. А настоящие встречи почти всегда происходят позже. Не тогда, когда мы отчаянно ищем своих людей. А тогда, когда перестаём быть чужими самим себе.

Он снова посмотрел на последнюю строчку.

— Значит... они уже существовали?

— Думаю, да.

— Просто мы ещё не встретились.

— Именно.

Он усмехнулся.

— Забавно. Я писал это как поддержку. А получилось обещание.

Я улыбнулся.

— Некоторые обещания становятся понятны только спустя годы.

Он ещё раз перечитал стихотворение.

— Получается… иногда действительно достаточно просто начать жить?

— Иногда это и есть самое сложное.

Он кивнул.

— Тогда, наверное, хорошо, что это стихотворение такое простое.

— Почему?

— Потому что человеку, который наконец решился выйти из дома, не нужна карта лабиринта. **Ему достаточно открыть дверь.**

ГЛАВА 17

Там, за облаками

Иногда самые важные вещи происходят не наяву. А во сне.

Это стихотворение относится к тому периоду, когда я уже жил один, вернувшись в свою квартиру. Постепенно пытался собрать жизнь обратно. Что-то настраивал, работал, учился существовать в новой реальности. Внешне всё выглядело достаточно спокойно. Но внутри ещё ничего не закончилось.

Это стихотворение родилось из совершенно реального сна. Мне приснилось, что мы снова вместе. Не бывшая жена. А моя жена. Во сне между нами не существовало ни расставания, ни боли. Мы гуляли по облакам, смеялись, дурачились, проводили время где-то в городе. Всё было так естественно, что ни на секунду не возникало ощущения, будто что-то здесь невозможно. Это была обычная жизнь. Та, которую я когда-то считал своей.

А потом я проснулся. Первые секунды после пробуждения были, наверное, самыми честными. Сознание ещё не успело перестроиться — для него всё ещё существовал тот сон. Я открыл глаза. И увидел рядом другую женщину. Помню, как меня тогда буквально прошиб холодный пот.

Именно в тот момент я впервые очень ясно понял одну вещь. Я больше не хочу себя обманывать. Можно сколько угодно убеждать себя, что жизнь продолжается, что нужно двигаться дальше, что новые отношения обязательно всё исправят. **Но тело уже знает правду раньше головы.**

После того утра был день, когда по дороге на работу мне стало настолько плохо, что пришлось остановить машину. Меня вырвало прямо на обочине.

Тогда мне казалось, что меня очень сильно обидели. Спустя годы я понимаю иначе. Я тоже обидел не меньше. Наверное, именно с этого момента исчезло желание искать единственного виноватого. Иногда люди причиняют друг другу одинаково сильную боль. По-разному. Но одинаково глубоко. И признать это оказалось гораздо труднее, чем просто выбрать сторону.

Сейчас я понимаю, что это стихотворение совсем не о любви. Оно о той короткой секунде после пробуждения, когда сон оказался честнее бодрствования. Когда внутри всё ещё существовала одна жизнь, а глаза уже увидели совсем другую. И именно в эту секунду стало невозможно продолжать собственную ложь.

— — —

Там, за облаками

Мы встретились внутри меня.
Я так мечтал тебя увидеть.
Нам не хватало того дня,
Чтоб мы могли не ненавидеть.

Могли ходить по облакам,
Без остановки целоваться,
И волю дать своим рукам,
Полётом страсти наслаждаться.

Глаза в глаза: «Я вся твоя».
«И я весь твой», — шептали губы.
Так почему же иногда
Друг к другу мы бываем грубы?

Давай забудем всё и вновь
Задышим грудью с новой силой.
Соединила нас любовь —
Она же и благословила.

Но что же делать и как быть?
Внутри меня всё так прекрасно!
Как сказку в жизнь мне превратить
И разукрасить яркой краской?

Виденье — явь, ни дать ни взять.
Я будто на пороге рая…
Но сну конец — пора вставать.
Глаза открыл — а там другая…

Имеешь шанс, чтоб жизнь твоя
Не стала разочарованием.

Поверь в мечту и верь в себя —
С лихвой воздастся за старания.

О люди, не ломайте то,
Что в небе скреплено не вами.
Оставьте зло, простите всё —
Нас встретят всех за облаками.

— — —

Я долго смотрел на последнюю строфу.

— «Мы встретились внутри меня…»

Он улыбнулся.

— Красиво получилось?

— Красиво. Но не поэтому она сильная.

— А почему?

— Потому что это не метафора.

Он нахмурился.

— В смысле?

— Вы действительно встретились внутри тебя. Во сне. Во внешнем мире этой встречи уже не существовало.

Он замолчал.

— А ведь правда…

— Ты тогда ещё этого не понимал.

— Мне просто очень хотелось, чтобы всё оказалось настоящим.

— Именно поэтому первые секунды после пробуждения были такими страшными.

— Потому что я ещё был там.

— Да.

— А потом увидел…

Он не договорил.

— Другую женщину.

Он кивнул.

— Меня тогда холодным потом прошибло.

— Верю.

— Это было ощущение, будто меня резко вытолкнули из одного мира в другой.

— И именно тогда ты перестал себя обманывать.

Он посмотрел внимательно.

— Думаешь, именно тогда?

— Ты сам только что это рассказал.

Он долго молчал.

— До этого я всё ещё пытался убедить себя, что можно жить как будто ничего не произошло.

— А после сна уже не смог.

— Нет.

— Почему?

— Потому что во сне я был счастлив. По-настоящему.

— А проснувшись, понял, где на самом деле находится моё сердце.

Он тяжело выдохнул.

— Это было очень больно.

— Да.

— Но знаешь, что странно? Мне тогда казалось, что обидели только меня.

— А сейчас?

Он посмотрел куда-то мимо меня.

— Сейчас понимаю… я тоже обидел не меньше.

— Это очень важная мысль.

— Почему?

— Потому что в ней впервые исчезает желание найти одного виноватого.

Он кивнул.

— Наверное… мы оба сделали друг другу очень больно.

Я немного помолчал.

— После этого тебя вырвало в машине.

Он удивился.

— Ты запомнил?

— Конечно.

— Думаешь, это связано?

— Мне кажется, тело снова оказалось быстрее головы.

Он усмехнулся.

— Опять тело.

— Уже не первый раз. Зеркало. Холодный пол. Теперь это. Организм словно каждый раз говорил: «Хватит врать».

Он задумался.

— Получается… не сон всё изменил?

— Нет.

— А что?

— Сон сорвал последнюю защиту.

Он ещё раз перечитал последние строки.

— «Но сну конец — пора вставать. Глаза открыл — а там другая…»

— Знаешь, что здесь самое страшное?

— Что?

— Ты написал это почти без эмоций.

— Потому что тогда уже не осталось сил.

— Именно поэтому эта строка так работает.

Он молча закрыл страницу.

— Странно… я ведь думал, что написал стихотворение о любви.

Я покачал головой.

— Нет.

— А о чём тогда?

— О моменте, когда человек впервые перестаёт лгать самому себе.

Он долго сидел молча. На этот раз ни один из нас не попытался закончить мысль вслух.

ГЛАВА 18

Чаша

Иногда после долгого внутреннего разговора появляется желание не понять ещё что-нибудь, а просто посмотреть.

Это стихотворение родилось на Балтийском море, куда мы поехали с друзьями жены — теми самыми, о которых я уже вспоминал в главе «Горы». «Горы» появились как способ найти уединение внутри себя. А «Чаша» была написана, кажется, на следующий день — здесь мне больше не хотелось никуда уходить, ни в прошлое, ни в тёмные пещеры сознания. Я попытался остаться именно там, где находился: смотреть, замечать, растворяться в происходящем.

Ключевым словом стало «наблюдение». Я просто описывал то, что видел: облака, песок, солнечные блики на коже — возможность перестать быть белкой в колесе и почувствовать, что несколько часов никому ничего не должен. **Наверное, это одно из первых стихотворений, в котором я не пытаюсь ничего исправить. Просто присутствую.**

Строка «порой не нужно думать головой» сейчас кажется мне особенно важной — мысль была моим главным инструментом, но постепенно превратилась в место, где можно бесконечно скрываться от самой жизни. Здесь я впервые разрешаю себе не объяснять происходящее:

облака не обязаны быть символом, солнечные пятна на коже могут быть просто солнечными пятнами. Иногда внимательное наблюдение — уже достаточное действие.

Тогда я только пытался представить жизнь, которой хотел бы жить — море, палатки, горы, больше пространства и меньше гонки. Стихотворение стало картинкой будущего. Теперь прошло несколько лет, и я сижу на острове Гили-Траванган, читаю это стихотворение, написанное на Балтийском море, — и вдруг выясняется странная вещь: **я сижу внутри собственного стихотворения. Не в переносном смысле. Буквально.**

Но я не думаю, что оно каким-то магическим способом притянуло эту жизнь. Можно дать человеку лазурную воду и свободное время, а он всё равно проведёт день внутри тревоги или телефона. Важным оказалось не добраться до моря, а развить внимание, которое заметит, как облака расплываются белой чешуйкой. **Стихотворение учило не создавать счастье из ничего. Оно учило его не пропускать.**

— — —

Чаша

На синем фоне белою чешуйкой
Игриво расплывались облака.
Песок из кулака сочился струйкой.
В полёт не отпускала лишь твоя рука.

И детки солнца прыгали по коже,
Как будто на площадке ребятня.
Ласкали волны, как перина в ложе.
Казалось, нет конца и края того дня.

Освободившись от секундной стрелки
И отложив подальше телефон,
Меняем амплуа колёсной белки,
Палатку — на дворец и трон.

Вдохнув поглубже йод морского бриза,
По берегу пройду босой ногой.
Я чувства все поставил на репризу.
Порой не нужно думать головой.

Расслаблю тело и наполню чашу,
Но не вином — энергией небес.
Миллиардом красок жизнь разукрашу.
Пусть Бог следит, чтоб не вмешался бес.

— — —

— Красиво, — сказал я, перечитав первую строфу.

Он посмотрел на меня с лёгким подозрением.

— Просто красиво? Ничего не добавишь?

— Здесь ты почти ничего не прятал. Ты просто смотрел.

Он улыбнулся, потом снова прочитал: «на синем фоне белою чешуйкой».

— Мне тоже сейчас нравится. Тогда она просто пришла. А теперь читаю и вижу облака.

Мы немного помолчали.

— Знаешь, где я сейчас нахожусь? — спросил я. — Не на Балтийском море. На Гили-Травангане, в Индонезии. Остров, лазурная вода, песок под ногами. Жду обед.

Он не сразу понял, потом посмотрел на стихотворение и снова на меня.

— Ты серьёзно читаешь это там?

— Абсолютно. Получается, мы всё-таки сюда приехали — даже дальше, чем ты тогда представлял. Совсем недавно спали в палатках на Ринджани, четыре дня в пути.

— И телефон отложил?

— Иногда. Хотя сейчас разговариваю с тобой через телефон, — усмехнулся я.

— Значит, не всё получилось.

— К счастью. Иначе нам сейчас было бы трудно встретиться.

Он задумался.

— Получается, я тогда визуализировал эту жизнь, и она сбылась?

— Не думаю, что всё произошло только потому, что ты хорошо представил море. Одной картинки мало — после неё были решения, работа, продажа квартиры, переезд, ошибки. Направление — не волшебство.

— А что тогда здесь самое важное?

— Не то, что ты представил море. Что начал учиться его замечать. Это сложно — можно сидеть перед лазурной водой и весь день читать новости, можно приехать в отпуск и продолжать проживать рабочую неделю.

— А я не так делаю?

— Иногда так. Но теперь чаще замечаешь, когда пропускаешь происходящее. Стихотворение сохранило важную команду: порой не нужно думать головой.

Он рассмеялся.

— Наконец-то пригодилась.

— Очень. Смотреть, дышать, чувствовать песок, есть обед, когда его принесут. А смысл можно поискать позже.

Он снова прочитал название.

— Почему «Чаша»?

— Ты сам написал: «расслаблю тело и наполню чашу». Чаша — это ты.

— Очень оригинально, — улыбнулся он. — Чем она была наполнена до этого?

— Чем угодно — страхом, обидой, попытками всё понять. А здесь — небом, солнцем, морем.

— Разве можно выбрать, чем наполняться?

— Не полностью. Но можно выбирать, чему уделять внимание. Не отрицать боль, а не считать её единственной реальностью.

Он посмотрел на воду.

— Получается, счастье тоже нужно уметь замечать? Я думал, если оно придёт, его невозможно пропустить.

— Ещё как возможно. Иногда человек так занят ожиданием большого счастья, что не замечает целый день, который уже был хорошим. «Казалось, нет конца и края того дня» — но день закончился.

— Тогда какой смысл?

— В том, что он был.

Он задумался.

— А сейчас эти три недели тоже кажутся одним днём? И ты их не пропускаешь?

Я посмотрел на телефон.

— Иногда пропускаю.

— Положи его.

— Тогда разговор закончится.

— Может, на сегодня достаточно?

Я оглянулся. Вода блестела. Под столом лежал тёплый песок. Где-то рядом готовили мой обед.

— Возможно.

Он снова посмотрел на стихотворение.

— Ты сказал, что хорошо написано. Без «но»?

— Без «но». Странно слышать это от себя спустя годы — раньше я чаще искал, что исправить. И сейчас ищу. А здесь хочу просто оставить как есть.

Он кивнул.

— Значит, чашу всё-таки удалось наполнить?

— На этот момент. Иногда момент — единственная ёмкость, которая нам вообще дана.

Он усмехнулся.

— Опять красиво сказал.

— Прости.

— Ничего. Сегодня можно.

Я отложил телефон экраном вниз и просто смотрел, как одна и та же волна набегает на песок уже, наверное, в десятый раз.

ГЛАВА 19

Разговор с братом



Иногда стихотворение называется разговором только потому, что в нём участвуют двое. Но двое говорящих — ещё не обязательно собеседники.

Первые строки этого текста написал брат:

Здравствуй, брат. Ты же видел безмолвие вечного. Где ни шагу назад. Где вперёд и нет встречных.

Я ответил четверостишием. Потом он снова прислал свою часть — про поколение, металлический привкус накала, вдохновение и неизбежную лёгкость финала. Всё остальное написал уже я. Изначально это были отдельные

сообщения — я собрал их вместе и назвал стихотворение «Разговор с братом», думая, что между нами происходит нечто особенное, будто мы дышим одним воздухом.

Сегодня, перечитывая текст, я вижу его иначе. **Мы говорим о разном — настолько, что даже строфы плохо соединяются друг с другом.** Тогда мне хотелось видеть в этом соединение двух голосов. Теперь я слышу два монолога, поставленных рядом — они используют похожие слова, но находятся в разных смысловых пространствах.

Особенно это касалось строки «мы в свинец переплавили олово» — переворот известной песенной строки про золото и олово. У нас уже не золото обесценивается в дешёвый металл. Мы берём олово и переплавляем в свинец — превращаем мягкое в боеприпас. Мне было интересно, заметит ли брат это, спросит ли, почему именно свинец. Настоящего разговора об этом не произошло. **Центр стихотворения — не в поколениях и не в вечности. В разговоре, который так и не состоялся.**

Сегодня я уже около полугода не общаюсь с братом. За тридцать пять лет я устал от его способа жить, от свободы, которая часто оплачивалась другими. Когда-то я называл его гением свободы. Теперь понимаю: свобода без ответственности легко становится формой насилия над теми, кто рядом. Предпоследняя строфа — «мы

друг другу уже опостылели, нервно ждём ледяного молчания» — сейчас звучит почти как предсказание.

Финальная строфа резко меняет направление: я перестаю говорить о брате и говорю о собственной душе — хочу положить её на завалинку, чтобы она оттаяла. **После всей попытки быть услышанным я впервые спрашиваю, что нужно мне самому.**

— — —

Разговор с братом

Здравствуй, брат.
Ты же видел безмолвие вечного.
Где ни шагу назад.
Где вперёд и нет встречных.

Где размытые лица прохожих,
Растворяясь в тумане сомнения,
Исчезают — их чувствую кожей я.
Поколение за поколением.

Поколение, поколение…
Металлический привкус накала.
Вдохновение, откровения,
Неизбежная лёгкость финала.

Знаешь, брат, там поток бесконечности
Ниспадает на мудрые головы.
Нам дано обозначиться в вечности.

Мы в свинец переплавили олово.

Что доказано — ныне бессмысленно.
Что построено — ныне разрушено.
Обесценено свободомыслие.
Идеалов границы нарушены.

Мы друг другу уже опостылили.
Нервно ждём ледяного молчания.
Водопады словесности вылили
От усталости и невнимания.

Мне бы душу свою на завалинку
Положить, чтоб на солнце оттаяла.
Ручейком по полям, хоть и маленьким,
Ключевою водою талою.

— — —

— Это ты написал первую строку? — спросил я.

— Брат, — покачал головой он. — Я ответил следующей строфой. Потом снова он. А дальше уже всё моё. Хорошо получилось, правда?

Я не ответил сразу.

— Я теперь не уверен, что это разговор. Вы почти не отвечаете друг другу — он пишет про вечность, ты продолжаешь свою мысль про людей и поколения, но не его. Он потом подхватывает слово «поколение», но не уверен, что мысль.

— Но звучит же цельно.

— Особенно если заранее решить, что это диалог. Иначе слышатся два человека, которые говорят рядом.

Он замолчал.

— Думаешь, мы тогда уже не понимали друг друга?

— Возможно, понимали меньше, чем тебе хотелось верить. Общее детство, семья, стихи, музыка, боль — этого достаточно для связи, но не всегда для разговора. Нужен ещё интерес к тому, что сказал другой. Ты хотел не ответа строкой — ты хотел, чтобы он остановился и спросил: «почему свинец?»

Он замер.

— Спросил?

Он отвёл глаза.

— Не помню.

— Думаю, если бы спросил, ты бы запомнил.

Он снова посмотрел на строку про свинец.

— Я переиначил песню — там было про золото и олово. Почему у меня получилось жёстче?

— Золото в олово — обесценивание. Олово в свинец — вооружение.

Он медленно повторил:

— Мы сделали пули. Друг для друга?

— В том числе. Думаю, ты тогда уже это чувствовал, но ещё не мог признать. Сейчас я вижу, сколько лет пытался достучаться до человека, который не особенно хотел слушать.

— Он плохой?

— Не в этом вопрос. Мы давно жили в разных смысловых пространствах. Для него свобода означала возможность делать то, что хочется. Для тебя со временем она всё больше означала возможность выбирать, не разрушая другого.

Он нахмурился.

— Ты сейчас опять судишь его.

— Возможно. Я устал — не от него, от наших отношений.

— Мы перестанем общаться?

— Да. Через много лет после этого стихотворения. Не из-за одной ссоры — из-за огромного количества разговоров, после которых я всё чаще чувствовал, что разговора не было.

— А я? — спросил он тише.

— Будешь продолжать объяснять, помогать, ждать. Пока не заметишь, что тратишь жизнь на контакт, который всё время создаёшь почти в одиночку.

Он перечитал: «мы друг другу уже опостылили».

— Значит, я уже тогда понимал?

— Какая-то часть тебя — точно. А «нервно ждём ледяного молчания» — возможно, самое точное предсказание во всём тексте. Мы хотели перестать разговаривать так, как разговаривали — когда один говорит, второй не слышит, а оба называют это близостью.

— А сейчас молчание ледяное?

— Сначала было. Теперь скорее спокойное.

— Тебе его не хватает?

Я долго не отвечал.

— Иногда мне не хватает не его сегодняшнего. А человека, с которым, как я когда-то думал, мы дышим друг другом.

— А его не было?

— Был. Просто, возможно, не совсем таким, каким я его видел. Отношения не становятся выдуманными только потому, что мы чего-то в них не замечали. Там было настоящее. Просто не всё, что я к нему добавлял, принадлежало ему.

Он посмотрел на последнюю строфу.

— Почему здесь завалинка?

— Хотелось тепла. После попытки разговора ты впервые перестаёшь спрашивать, услышит ли он, и начинаешь думать, как отогреть себя. «Мне бы душу свою на завалинку положить» — очень сильный поворот.

— Потому что я сдаюсь?

— Потому что возвращаешь душу владельцу — себе. До этого она всё время лежала между вами, а ты ждал, что он её увидит, поднимет.

— А он не поднял?

— Возможно, просто не заметил.

— Это ещё больнее.

Он замолчал, потом спросил:

— Ты уверен, что правильно сделал, прекратив общение?

— Нет. Но отсутствие полной уверенности не означает, что нужно продолжать то, что разрушает.

— А вдруг он изменится? А ты?

— Может быть. Тогда, возможно, вы ещё поговорите. Но теперь мне нужен не ещё один обмен словами, а присутствие собеседника.

Он долго смотрел на название.

— Значит, это не «Разговор с братом»?

— Пусть остаётся, — сказал он сам за меня. — Я тогда верил, что мы разговариваем. Это тоже правда.

Он снова посмотрел на последнюю строфу.

— Душа оттаяла?

— Частично. Благодаря молчанию тоже. Странно — я всю жизнь боялся, что одиночество начинается, когда люди перестают разговаривать.

— А оказалось?

— Иногда оно заканчивается именно тогда.

Он поднялся, подошёл к завалинке и положил рядом с собой что-то невидимое.

— Что это?

— Душа.

— И долго будем ждать?

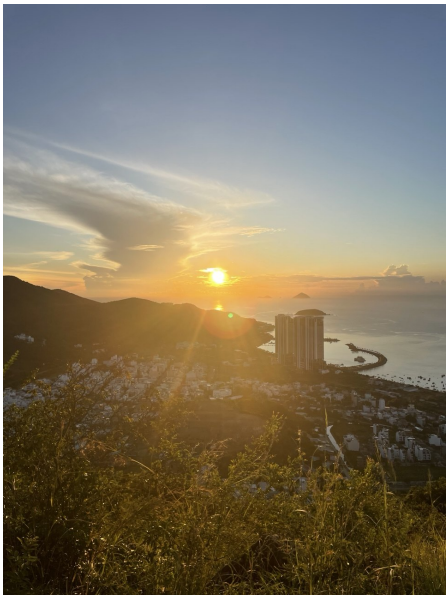
Он подставил лицо солнцу.

— Пока не оттает.

Солнце в тот день было по-настоящему тёплым — редкость для того города в это время года.

ГЛАВА 20

Знакомство



Иногда перемена приходит не как удар, не как решение на пределе, а складывается постепенно — из тёплой страны, налаженного быта, новой работы, книг, музыки, разговоров. Из множества мелочей, ни одна из которых сама по себе ничего не переворачивает, но однажды ты просыпаешься и замечаешь: внутри стало тише.

Это стихотворение появилось уже во Вьетнаме, в Нячанге. Первые сложности переезда остались позади, жизнь обрела форму. Раньше почти все мои стихи рождались из боли — нужно было остановить кровотечение, разобраться,

удержаться. Здесь источник оказался другим: мне было хорошо, и **я захотел писать не потому, что внутри что-то разрывало, а потому, что радость тоже требовала выхода.**

Тогда на меня сильно повлиял Марк Аврелий — не отдельной формулой, а самим ощущением масштаба. Человек — песчинка в огромном потоке, он не управляет большинством происходящего. И в этом неожиданно оказалось не унижение, а облегчение: не нужно держать всё на своих плечах, достаточно присутствовать в том отрезке жизни, который тебе достался.

Стихотворение называется «Знакомство» не с человеком, не со страной и даже не с Вселенной в буквальном смысле. **Это было знакомство с жизнью, которая наконец перестала восприниматься как подготовка к чему-то настоящему.**

Одна из самых дорогих мне строк здесь — «Мне осталась минута до старости. А мы только с утра познакомились…». Она не столько о возрасте, сколько о внезапном ощущении ценности: ты столько лет существовал, работал, любил, ошибался — и только сейчас будто впервые заметил саму жизнь.

А строка «Сердце бьётся об горло от радости» до сих пор кажется мне важной именно потому, что раньше это ощущение приходило только от тревоги. Тело сжималось, пульс поднимался к горлу — и это всегда означало опасность. Здесь

оно впервые заговорило тем же языком, но о счастье. Механизм не изменился — изменилась причина.

Я хорошо помню то утро на горе в Нячанге, когда поднимался рассвет: всё циклично, это уже происходило до меня бесчисленное количество раз и будет происходить после. Ночь не окончательна, но и рассвет невозможно удержать — можно только присутствовать при нём. Отсюда и желание быть ведомым Вселенной — не отказ от воли, а согласие ослабить бесконечную потребность всё контролировать: я буду внимать, ты показывай дорогу, только не обманывай.

Просьба звучит почти по-детски: я уже согласен быть маленькой частицей огромного мира, но всё ещё хочу гарантии, что путь имеет смысл. Отсюда строка «Не позволь заменить правдой истину». Правд может быть много — у каждого своя, и каждую можно красиво упаковать и продать. Мне хотелось не очередной версии происходящего, а чего-то, что не зависит от упаковки и моего сегодняшнего настроения. Раньше я искал ответы, чтобы прекратить боль. **Теперь мне стало интересно жить даже внутри вопроса** — и, возможно, именно это и было главным знакомством.

— — —

Знакомство

Пробудившись от тихого голоса —
От природы неслышного пения,
Я под зов бесконечного космоса
Покидаю свои сновидения.

Там оставлю всё то, что ненужное,
Пусть поможет мечта незабвенная.
Я сегодня нацелен на лучшее.
Всё случится — со мною Вселенная…

Я внимать тебе буду восторженно,
Ну а ты путь-дорогу указывай.
Быть ведомым тобою заложено —
Так веди меня, но не обманывай!

Награди меня страстью неистовой,
Силу воли дай непокорённую.
Не позволь заменить правдой истину,
Даже качественно упакованную.

Сердце бьётся об горло от радости.
Нервы слабые успокоились.
Мне осталась минута до старости.
А мы только с утра познакомились…

— — —

— С кем ты познакомился? — спросил я, перечитав последнюю строфу.

Он посмотрел на меня удивлённо.

— Со Вселенной. А с кем ещё бывает знакомство?

— С жизнью. Ты ведь и до этого жил — просто часто воспринимал настоящее как коридор в будущее: вот решишь проблемы, вот наладишь отношения, вот переедешь — и тогда наконец начнётся жизнь.

— А здесь началась?

— Здесь ты впервые заметил, что она уже идёт. Не из-за Вьетнама самого по себе — но тепло, море, повышение на работе помогли. Не стоит делать вид, что бытовая устроенность не важна: когда есть где жить и чем оплачивать жизнь, внутри освобождается пространство.

— А духовность? Марк Аврелий?

— Тоже помогла. Но ни одна книга не кладёт спокойствие в голову готовым — она встречается с тем, к чему ты уже постепенно подходил.

Он посмотрел на первую строфу.

— Чей это голос — «пробудившись от тихого»?

— Возможно, природы. Возможно, твой. А космос — просто название масштаба, который тогда тебя успокаивал: рядом с бесконечностью личная катастрофа перестаёт казаться всей реальностью.

— Но разве это не обесценивает мою боль?

— Нет. Песчинке тоже может быть больно. Просто она больше не обязана считать, что из-за её боли остановилась пустыня.

Он невольно улыбнулся.

— Мне нравилось думать, что я песчинка.

— Потому что до этого слишком долго пытался быть тем, кто удерживает весь мир.

— А кто тогда его удерживает?

— Возможно, никто. Страшно и освобождает одновременно.

Он снова прочитал: «Я сегодня нацелен на лучшее».

— Звучит почти как аффирмация.

— Но это не она. Ты уже начал жить лучше до того, как это написал — строка не убеждала тебя, она подводила итог.

— Да, — согласился он. — Внутри действительно было спокойно. Не впервые вообще, но как будто впервые за долгое время без подвоха.

— Не ждал, что всё снова рухнет?

— Наверное, ждал. Но немного меньше.

Он перешёл к третьей строфе — «Так веди меня, но не обманывай».

— Ты доверяешь Вселенной и тут же выставляешь условие, — заметил я. — Очень человеческая строка: готов отпустить контроль, только если тебе пообещают честную дорогу.

— А она честная?

— Нет. Жизнь ничего не обещает. Хорошие люди страдают, усилия не всегда вознаграждаются, мечты не обязаны исполняться.

Он посмотрел на меня с раздражением.

— Тогда чему я радуюсь?

— Тому, что жизнь не обязана быть справедливой, чтобы оставаться жизнью. Знаю, звучит ужасно. Но принятие начинается там, где перестаёшь требовать от мира подписать договор.

— Значит, Вселенная меня обманет?

— Она ничего тебе не обещала. Просто человеку иногда нужен собеседник размером больше него самого.

Он перечитал следующую строфу — про силу воли, страсть и истину.

— Силу воли и страсть, допустим, получу. А истину?

Я улыбнулся.

— Вот с ней сложнее. Человек часто называет истиной ту правду, которая ему сейчас удобнее. Правда может быть точной внутри одного взгляда — истина должна выдерживать смену взглядов.

— Такая существует?

— Не знаю. Но, может быть, дело не в том, чтобы её найти, а в том, чтобы не останавливаться на первой хорошо упакованной версии. Ты уже тогда не очень доверял красивым объяснениям — хотя сам их любил.

Он дошёл до последней строфы — «Сердце бьётся об горло от радости».

— Одна из твоих любимых строк, — сказал я. — Раньше так бывало только от страха. А тут — от радости: тело заговорило знакомым языком, но сообщило другую новость.

— Значит, оно изменилось?

— Скорее узнало, что сильное волнение не всегда означает опасность. Хотя бы на то утро.

— А потом снова тревога?

— Конечно. Новый виток не отменяет старые темы — ты снова встретишь страх, боль, злость. Но теперь будешь знать ещё одно состояние: искреннюю радость, которой не пришлось сначала пройти через страдание, чтобы получить право на существование.

Он помолчал, потом тихо сказал:

— То есть раньше я писал, чтобы выжить. А здесь — потому что жил.

Он перевёл взгляд на последние строки.

— Боишься старости? А смерти?

— Конечно боюсь. Но здесь нет отчаяния именно потому, что мы всё-таки познакомились. Поздно, но познакомились. Возможно, знакомство с жизнью вообще всегда происходит поздно — чтобы увидеть её, нужно сначала заметить, как долго ты смотрел мимо.

Он помолчал.

— А сейчас тебе сколько?

— Тридцать пять.

Он рассмеялся.

— Какая ещё старость?

— Я тоже теперь так думаю. Значит, впереди ещё много — хотя опять никакой гарантии.

Он посмотрел в сторону рассвета.

— Но солнце завтра снова взойдёт?

— Скорее всего. А если нет — мы уже не успеем расстроиться.

Он рассмеялся, потом снова стал серьёзным.

— Всё циклично. Значит, будет далее?

— Будет. Разное. — Он кивнул, и на этот раз его не разочаровал ответ. — А это умиротворение останется?

— Не постоянно. Но теперь ты знаешь дорогу к нему — перестать ждать жизнь за углом.

— И где она?

— Здесь. Прямо сейчас.

Он вдохнул. Сердце снова поднялось к горлу — быстро, тепло, почти неразличимо от той, прежней тревоги.

ГЛАВА 21

Старость

Иногда человек сначала пишет мысль, а уже через несколько лет узнаёт, к какой философии она принадлежит.

Это стихотворение появилось ещё в Польше, когда я не читал Марка Аврелия и не мог назвать систему, к которой внутренне тянулся. Но вопросы уже существовали: сколько нам вообще дано? Почему мы говорим о старости так, будто она обязательно наступит? Старость может просто не наступить — мы привыкли видеть её впереди как гарантированную станцию, а смерть где-то после неё. Но человек не просто смертен. Он, как однажды напомнил Воланд, **внезапно смертен.** Поэтому первая строка спрашивает не столько о старости, сколько о времени: сколько слов нам ещё осталось, и будут ли среди них слова, от которых в глазах появятся реки радости — или мы потратим их на споры и упрёки, которые давно ничего не меняют?

В сборнике перед этим стихотворением стоит «Знакомство» — но написано оно было позже, уже во Вьетнаме, после встречи со стоицизмом. А это, более раннее, я всё же оставил после «Знакомства»: сначала человек узнаёт жизнь, потом спрашивает, сколько её осталось. Порядок появления мыслей и порядок их осмысления не обязаны совпадать.

Когда во Вьетнаме я впервые по-настоящему столкнулся со стоицизмом — ехал в Далат, включил книгу почти случайно, — это было не убеждением в чём-то чужом, а узнаванием: «Так кто-то ещё тоже думает?» Стоицизм не вложил в меня эти мысли. Он дал им язык. Вернувшись к этому стихотворению, я увидел, что ещё в Польше, не зная названий философских школ, уже кружил возле тех же вопросов: сколько продержится память даже о самых великих людях, что останется от моих сегодняшних страхов через тридцать лет, через сто, через тысячу. **За мной — вечность. Передо мной — вечность. Моя жизнь между ними почти неразличима.**

Эта мысль скорее освобождала, чем пугала: если всё настолько кратко, зачем охранять обиды, будто они имеют вечную ценность? Но у такого масштаба есть и опасность. Например, мы с женой сидим в ресторане, я отхожу на несколько минут — для меня мелочь, и, поднявшись над ситуацией мыслью о вечности, я легко её обесцениваю. Но для неё дело может быть совсем не в минутах: «Ты вообще учёл, что я рядом?» Вечность помогает увидеть, сколько в конфликте наносного, — но, поднявшись достаточно высоко, важно возвращаться обратно, к конкретному человеку. Иначе философское спокойствие становится просто способом эмоционально отдалиться. **Зрелость не в том, чтобы выбрать один масштаб, а в способности удерживать оба.**

Строка про перерождение и ограждения — не о мистике. Ты строишь систему, считаешь, что понял людей, добро, вину, свободу, — а потом система сталкивается с жизнью и ломается, и тогда либо восстанавливаешь прежнюю конструкцию, либо позволяешь себе взглянуть иначе. Феникс сам себя сжигает — образ, в котором всегда было что-то подозрительное: не каждый внутренний пожар ведёт к обновлению, важно понимать, что именно сгорает — прежняя ложь или живой человек вместе с ней.

Дальше появляется Стикс: какое чувство окажется тем самым другом, что не исчезнет у последней границы? Перед смертью не пригодятся роли и красивые объяснения — но, возможно, останется чувство. Не обязательно возвышенное. Зато честное. А в строке про билет в поднебесную мне до сих пор нравится простая просьба: пусть там будет тесно. Не персональный рай для избранных — а место, где я улыбнусь местному населению, не буду мешать и воскресну.

История бабушки добавляет сюда ещё один слой. Она была наполнена жизненной страстью, любила жить — и одновременно много курила; зависимость разрушала тело и привела к раку. Она родилась в 1944-м и умерла в 2012-м, ей было около шестидесяти семи. **Любовь к жизни не всегда сильнее зависимости** — человек способен одновременно хотеть противоположного: жить и разрушать себя, желать свободы и строить тюрьму. Мы знаем, что что-то нас разрушает, и

продолжаем — не потому, что совсем не ценим жизнь, а потому, что пока не умеем иначе с ней справляться.

Финал возвращает к повторению: сколько раз повторяться сценарию? Раньше цикличность меня пугала — казалось, если ситуация повторилась, я ничему не научился. Теперь думаю иначе: повторение не всегда точная копия, иногда это спираль — та же точка, но уже с другой высоты. И всё же концовка известна заранее: сколько бы раз человек ни переродился внутри одной жизни, сама жизнь закончится. Это не делает её бессмысленной. Наоборот — именно ограниченность времени превращает каждую сцену в единственную.

— — —

Сколько слов нам осталось до старости

Сколько слов нам осталось до старости,
От которых в глазах реки радости?
Сколько вздохов от самого первого
До отказа от этой реальности?

Сколько раз нам до тяжбы обещанной
На ночь включат кино, только вещее?
Режиссёр передаст мысль главную,
Что подействует лучше затрещины.

Сколько взглядов до перерождения
Поломаются об ограждения?

Мы восстанем из праха немедленно,
Словно феникс в день самосожжения.

Сколько чувств — и какое окажется
Другом верным, который отважится
Реку Стикс переплыть и извозчику
За проезд заплатить не откажется?

Сколько стоит билет в поднебесную?
И дай Бог, там окажется тесно нам!
Улыбнусь населению местному,
Да не буду мешать — и воскресну я.

Сколько раз повторяться сценарию?
В чём урок и насколько мы старые?
И концовка известна заранее…
Ну а шоу продолжается далее.

— — —

— Ты тогда уже читал Марка Аврелия? — спросил я, глядя на первую строку.

— Я даже не знал, кто это, — ответил он. — Просто думал. А потом услышал и обалдел: кто-то уже давно сказал то, что я пытался собрать сам.

— Не обидно?

— Наоборот. Мне стало легче — значит, я не один такой странный.

Я улыбнулся.

— Получилось ещё одно знакомство. Не только с Марком Аврелием — с собой. Ты услышал чужую философию и узнал в ней собственное направление.

Он посмотрел на стихотворение.

— Я написал его раньше «Знакомства». Но в сборнике ты поставил после.

— Потому что так вернее по смыслу: сначала знакомство с жизнью, потом вопрос о её длительности. Порядок появления мыслей и порядок их осмысления не обязаны совпадать.

Он снова прочитал первую строфу.

— А сколько слов осталось?

— Не знаю. Может, много. Может, это последние.

— Зачем ты так?

— Ты сам написал стихотворение о внезапной конечности — а теперь предпочитаешь считать её теоретической. Даже человек, рассуждающий о смерти, обычно так делает.

— А ты готов умереть сейчас? — усмехнулся он.

Я ответил не сразу.

— Нет. Стоицизм не обязан превращать человека в камень. Марк Аврелий говорил, что по сравнению с вечностью разница между «сейчас» и «через десять лет» ничтожна. Но для живого человека десять лет всё равно ощущаются десятью годами. Мысль о смерти даёт не бесстрастие, а масштаб — способ отделить наносное от важного.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Вот я сейчас ушёл от жены в ресторане на двадцать минут и ничего не сказал. Если смотреть в масштабе вечности — какая разница?

— Почти никакой. А если смотреть глазами человека, который сидит и не понимает, куда ты исчез?

Он помолчал.

— Для неё разница есть.

— Именно. Значит, нужно подняться над ситуацией, чтобы не раздувать её, — а потом спуститься обратно, чтобы не потерять человека. Два масштаба честнее одного.

— И всё? Просто «надо было сказать»?

— Иногда мудрость выглядит именно так скучно.

Он снова посмотрел на вторую строфу — про режиссёра и затрещину.

— Ждал, что жизнь сама всё объяснит?

— Много раз объясняла. Не всегда понимал — иногда после затрещины просто болит голова. Событие само по себе не гарантирует урока. Мы называем всё уроками, просто чтобы хаос казался организованнее.

Он задумался.

— А перерождение — сколько взглядов должно сломаться?

— Все, которые перестали выдерживать реальность. Если тебе нравится твой взгляд,

будешь защищать его, пока ограждение не окажется крепче тебя. Обычно человек предпочитает сломаться сам, лишь бы сохранить убеждение — и про брата, и про себя хорошего, и про брак.

— Значит, феникс должен сжечь всё?

— Нет. Только форму, в которой больше невозможно жить. И с самосожжением нужно быть осторожнее: ты уже достаточно раз разрушал себя, называя это изменением. Если после огня остаётся больше жизни — это обновление. Если меньше — просто очередное наказание.

Он помолчал, потом спросил:

— А какое чувство переплывёт Стикс? Любовь? Страх? Сожаление?

— Не знаю. Хочется верить, что любовь. Страх, наверное, исчезнет первым, а сожаление может держаться до самого берега.

— А что бы взял ты?

— Любопытство. Даже после смерти хочется узнать, что там. А если ничего — тогда некому будет разочаровываться.

Он посмотрел на строфу про поднебесную.

— Почему я надеюсь, что там будет тесно?

— Потому что не хочешь оказаться один даже в раю. Или потому что хочешь, чтобы все туда попали — без избранных.

— Даже брат? Даже люди, которых я ненавижу?

— Даже. Если это действительно рай, вопрос там, наверное, будет поставлен иначе.

Он невесело улыбнулся, потом вернулся к финалу.

— Концовка известна заранее — и всё равно шоу продолжается.

— Пока есть кому смотреть. Песня заканчивается — это не делает бессмысленными предыдущие три минуты, даже если через сто лет её никто не вспомнит.

Он помолчал.

— Бабушка тоже любила жизнь. И всё равно курила. Значит, не любила?

— Любовь к жизни не всегда сильнее зависимости. Человек способен одновременно хотеть противоположного: жить и разрушать себя, желать свободы и строить тюрьму.

— Она умерла рано из-за себя?

— Частично. Но я бы не превращал болезнь в приговор за привычку. Сколько ей осталось слов до старости, никто не знал — как и мы не знаем про себя.

— Тебя это пугает?

— Да. И освобождает одновременно — ты сам только что говорил о противоположностях.

Он кивнул.

— И что мне делать с тем, что смерть может наступить раньше старости?

— Не ждать старости, чтобы начать жить. Сказать важное. Не раздувать мелочи — но и не прятаться за вечностью, когда рядом живой человек.

— Опять жена и ресторан?

— Хороший пример. Особенно перед лицом смерти стоит предупреждать, что отходишь: у тебя может не быть следующего возвращения к столу.

Он перестал улыбаться.

— Жёстко. А через минуту ты скажешь, что всё это песчинка.

— И это тоже правда. Постоянно жить в двух масштабах невозможно, но можно иногда подниматься, чтобы увидеть целое, а потом спускаться, чтобы не забыть деталь. Правильный масштаб — тот, который сейчас помогает не врать.

Он снова прочитал название.

— Сколько слов нам осталось до старости?

— Не знаю. Слова не выдаются ограниченным тиражом — ограничено время, в которое их можно сказать.

— И что сказать?

Я посмотрел на него.

— Спасибо — за то, что ты написал это до того, как узнал, как называется твоя мысль. Прости — тем, чьи человеческие мелочи я иногда слишком легко обесценивал вечностью. И ещё… я люблю тебя.

— Это кому?

Я не ответил. Он улыбнулся.

— Хорошо. Пускай каждый решит сам.

Некоторое время мы молчали. Шоу продолжалось.

— Сколько нам ещё, как думаешь? — спросил он наконец.

Я не знал, что ответить. Может быть, поэтому вопрос до сих пор не устарел.

ГЛАВА 22

Сансара



Иногда книга не приносит новую мысль. Она соединяет в систему то, что до этого существовало внутри отдельными ощущениями.

«Сансара» появилась после прочтения книги Дмитрия Морозова «Дважды рождённые». Я прочёл её взахлёб. Для меня она стала чем-то вроде русской «Бхагавадгиты» — попыткой показать, что происходившее тысячелетия назад продолжает повторяться: меняются одежды, государства, оружие, но братья всё так же выходят сражаться против братьев.

На тот момент уже шла война России с Украиной — одна из причин, по которым мы уехали. Читая о битве, где родственники истребляют друг друга, я сначала испытывал обычную горечь: почему знание о прежних катастрофах не мешает создавать новые? А потом вопрос изменился. Вместо «зачем это произошло?» появилось: «как могло не произойти?» Не потому, что война правильна, а потому, что я начал видеть ход событий, который к ней привёл. **Понимание механизма — не оправдание результата.** Можно проследить, как разрушалось братство, не признавая братоубийство справедливым.

В книге меня поразил образ разорванного узора братства: опыт тех, кто видел дальше обычного человека, смыт людской волной, а новой толпе хочется уже только собственного мира и красивых пейзажей — понятного, того, что можно немедленно потрогать и купить. Само по себе желание земной жизни не преступление. Но когда оно становится единственным содержанием, всё более глубокое оказывается погребено под слоем сажи — так родилась первая строфа.

Меня тогда занимала идея множества воплощений — не как предмет веры, а как способ смотреть: если допустить множество жизней, человек уже мог оказаться где угодно, пережить страдание, власть, падение и снова вернуться. Каждое существование — не окончательный приговор, а ещё одна форма опыта. Но здесь есть

соблазн: если жизней бесконечно много, нынешнюю легко начать воспринимать как черновик. Мне казалось важнее обратное — если сценарий повторяется, тем нужнее хотя бы однажды заметить, что именно ты воспроизводишь.

Главной для меня стала строфа про Упанишады: «нежелающий знаний пусть не будет ими потревожен». До этого мне почти всегда хотелось поделиться новым знанием со всеми, встряхнуть человека, показать, что он живёт недостаточно глубоко. В этом было много искреннего восторга — и немало тщеславия: я назначал себя тем, кто уже понял, а другого — тем, кого нужно научить. Эта фраза впервые заставила меня спросить: имею ли я право тревожить человека знанием, которого он не просил? Знание не только освобождает — оно разрушает старую, пусть неудобную, но привычную опору. **Намёк оказался честнее объяснения** — не потому, что хотелось спрятаться за туманностью, а потому, что не хотелось отнимать у другого возможность самому дойти до открытия. То, что человеку сообщили, он может забыть. До чего дошёл сам — становится частью его.

В образе человека, попавшего в «водоворот мирских услад», я видел и старшего брата — его свободу, за которую расплачивались другие. Я не хочу быть ему судьёй, но нежелание судить не означает делать вид, что не вижу происходящего. При этом я не ставлю себя далеко в стороне: я

тоже долго жил теми же усладами. Разница, возможно, только в том, что я пока не стал родителем — и это не делает меня нравственно выше, просто жизнь не поставила нас в одинаковые обстоятельства.

Финал стихотворения — почти прямолинейная формула: отдавать, творить, любить. После всех кругов сансары, преисподней и Упанишад я возвращаюсь к трём обычным действиям — не объяснять мир и не победить перерождение, а просто не пропускать кадр, который идёт сейчас. Но это не гедонистическое «живи сегодня»: мирские услады тоже умеют притворяться присутствием. Отдавать — чтобы жизнь не замыкалась на потреблении. Творить — чтобы оставлять что-то после себя. Любить — чтобы другой не превращался в предмет очередной услады. **Именно так я сегодня понимаю выход из колеса сансары: не мистическое освобождение, а момент, когда перестаёшь бессознательно воспроизводить один и тот же сценарий.**

— — —

Сансара

Неон, витрины и красивые пейзажи
Заполнят пустоту, но только лишь на миг.
Всё настоящее лежит под слоем сажи,
Под вечным гнётом сплетен и интриг.

О сколько раз горел ты в преисподней
Или ногой ступал на край семи небес.
Вся в дырках совесть — так бесспорно модней —
Просить Владыку в час воскресных месс

Закрыть глаза на все твои кощунства
И вымолить отраду праздных дней.
Или хотя бы видимость такого чувства,
Чтобы не видеть больше ничего за ней.

О горе тем, кто, не пройдя путём смирения,
Попал в водоворот мирских услад.
Не потревожен будет знанием озарения —
Пророчил текст святых Упанишад.

Что может быть печальнее на свете,
Чем белкой в колесе Сансары быть?
Живите каждый кадр в этой киноленте,
Не забывая отдавать, творить, любить.

— — —

— «Не потревожен будет знанием озарения», — прочитал я вслух. — Ключевое место. Но тогда почему ты сейчас всё объясняешь? Пишешь целую главу, рассказываешь про Упанишады и сансару — разве не тревожишь этим знанием всех подряд?

Он задумался.

— Хороший вопрос. Но эта книга не приходит к человеку домой без приглашения — он сам её открывает. Да, получает мою версию, я всё равно направляю. Только я не говорю: «вот единственно

правильный смысл». Я говорю: «вот что происходило со мной». А если читатель увидит другое — пусть. Автор тоже может не знать всего, что написал.

— Значит, объяснять всё-таки можно?

— Можно приглашать в своё понимание. Только не запирать человека внутри него.

Он посмотрел на меня.

— А если человек не хочет знать?

— Оставить в покое. Это сложнее, когда речь о ком-то близком — о брате, например. Он порет хуйню, да. Но я не должен молчать — можно сказать, что вижу, обозначить границу, отказаться участвовать. Просто нельзя заставить научиться.

— Ты его обвиняешь?

— Иногда. Хотя всё время говорю, что я не судья. Одно другому не мешает: я не знаю всей его жизни и не имею права выносить окончательный приговор — и одновременно злюсь на конкретные поступки. Он виноват в некоторых вещах. И я тоже. Разница, может быть, в том, что я сейчас чуть чаще задаю себе этот вопрос.

Он посмотрел на вторую строфу — про преисподнюю.

— Ты действительно веришь в прошлые жизни?

— Не знаю. Мне интересно было допустить это как идею и посмотреть изнутри. Строка работает, даже если реинкарнаций нет: человек и за одну жизнь много раз оказывается и в преисподней, и почти

на небесах. Раньше мне нравилась мысль, что любое страдание для чего-то нужно. Сейчас я осторожнее — она слишком легко оправдывает боль задним числом.

— Значит, война тоже не «так и должна была быть»?

— Она могла стать исторически закономерной, если годами копить ненависть и насилие. Но закономерность не равна необходимости: в каждом звене были человеческие решения. Люди просто меняют оружие быстрее, чем собственные механизмы.

Он прочитал первую строфу.

— Ты же сам говорил, что природа наполняет чашу. А здесь пишешь, что пейзажи заполняют пустоту только на миг.

— Не противоречие. Красота может наполнить человека, но не обязана заменить внутреннюю работу. Если смотришь на море и присутствуешь — оно наполняет. Если требуешь от него навсегда исправить твою жизнь — через неделю понадобится другое море. Можно путешествовать и оставаться белкой в колесе. Просто колесо будет перемещаться между странами.

Он усмехнулся, потом посмотрел на строку про дырявую совесть.

— Я тоже так делал? Рассказывал о собственном разрушении красиво?

— Конечно. Образ свободного человека, который пьёт и никому не должен, — привлекательный образ. И твой брат так жил, и ты сам, какое-то время.

— Но я выбрался.

— Частично. А он — не знаю, я больше не вижу его достаточно близко, чтобы утверждать.

Он дошёл до строфы о молитве.

— Бог правда закрывает глаза, если попросить?

— Не знаю. Но, может быть, молитва нужна не для того, чтобы договориться с ним, а чтобы самому перестать закрывать глаза. Люди действительно часто просят не настоящего чувства, а его видимости — можно изображать заботу и не слышать человека, выполнять ритуалы веры и избегать встречи с тем, во что веришь. Можно даже написать глубокий текст и решить, что этим уже изменился.

— Это про нас, — сказал он.

— Особенно про нас.

Он вернулся к Упанишадам.

— Значит, знание уничтожает что-то полезное?

— Удобное неведение. И это не всегда плохо — человек может быть не готов остаться без опоры, даже ложной. Поэтому сначала стоит спросить, хочет ли он смотреть, а не вырывать костыль из рук, чтобы доказать, что он неправильно ходит. Наверное, поэтому боги в книге принимали доступное людям обличие — не обманывали, а

щадили: прямой свет человек мог не выдержать.

— А ты в стихах пытаешься уменьшить яркость?

— Иногда. А иногда, наоборот, накручиваю. Но намёк мне всё больше кажется честнее объяснения — это способ оставить человеку свободу самому дойти до открытия.

— А если никто не поймёт?

— Может быть, дверь пока никому не понадобилась. Но текст всё равно нужен был мне самому — автор тоже читатель, просто первый.

Он посмотрел на финальную строфу.

— «Живите каждый кадр» — ты прямо сказал, хотя только что решил не учить.

— Противоречие переходного периода. Я всё ещё немного проповедник — просто лучше маскируюсь. Под диалог, например.

— Я — это тоже ты, — заметил он. — Тогда чем эта книга отличается от проповеди?

— Тем, что ты можешь мне возразить. А читатель — закрыть книгу. Другого утешения нет: любое высказывание влияет, вопрос не в том, чтобы стать стерильным, а в том, оставляешь ли ты место для ответа.

Он перечитал: «отдавать, творить, любить».

— Что из них важнее?

— Не знаю. Отдавать можно и без любви — из страха. Творить — из тщеславия. Любить — и ничего не отдавать. Наверное, поэтому они стоят

вместе: каждый глагол проверяет остальные.

— А что значит выйти из сансары — по-настоящему, не религиозно?

— Заметить повторение до того, как оно снова закончит день за тебя. И поступить иначе — хотя бы на один процент. Чтобы круг впервые стал спиралью.

Он помолчал, потом спросил жёстче:

— А война? Братья снова убивают братьев — какой там один процент?

— Не знаю. Если ждать, что книга остановит армию, — почти наверняка бесполезно. Но, может быть, дело в том, чтобы хотя бы ты сам не превратил другого в абстрактного врага так легко. Иногда враг реален, и защищаться приходится по-настоящему. Но братство иногда разорвано задолго до первого выстрела — и восстановить его можно не красивыми словами, а ответственностью, памятью, способностью видеть в другом человека, не отрицая опасность.

— Звучит недостаточно.

— Потому что достаточного ответа у меня нет. Значит, я всё-таки не мудрец — просто человек, который прочёл книгу и на время увидел собственную жизнь через её язык. И написал стихотворение — сначала, наверное, чтобы объяснить другим. А теперь — чтобы пригласить.

— Куда?

Я посмотрел на открытую страницу.

— Вопросов здесь больше, чем ответов. Пусть каждый выберет свой. «Нежелающий знаний пусть не будет ими потревожен». А желающий — пусть войдёт и найдёт своё.

Он ещё раз перечитал последнюю строфу.

— Мы опять повторяемся. Шоу продолжается, колесо крутится…

— Сансара, — улыбнулся я. — Можно для начала не говорить последнюю красивую фразу.

Он кивнул. Дверь так и осталась открытой — в комнату тянуло вечерним воздухом, и где-то за ней слышались чужие голоса, шаги, обычная жизнь.

ГЛАВА 23

Вечный дух

Некоторые стихотворения спустя годы меняют смысл не потому, что в них обнаруживается скрытая мысль. Меняется человек, который их читает.

«Вечный дух» — одно из моих любимых стихотворений: жизнеутверждающее, энергичное, почти воинственное. Я сидел на камне на горе, и меня внезапно прорвало — не пришлось долго собирать образы, я просто почувствовал это движение внутри: желание жить, действовать, преодолевать.

Тогда я занимался йогой и всерьёз думал стать инструктором. Но йога, которой я тогда занимался, была прежде всего практикой достижения: больше, быстрее, сильнее, глубже. Если появляется предел, его нужно преодолеть. В какой-то момент я повредил спину — появилась грыжа, мне предложили операцию, я решил её не делать и вместо этого укрепить мышечный корсет. Тогда мне казалось, что в этой травме обязательно должен быть смысл. Сейчас я осторожнее с такими формулировками: не каждая травма специально послана человеку, чтобы его чему-то научить. Но через эту травму я пришёл к плаванию — и вода изменила моё представление о движении: в ней невозможно добиться всего одним усилием, с ней нельзя договориться силой, в неё приходится

войти.

Во время недавнего подъёма на Ринджани — четыре дня с рюкзаком, около сорока километров, спина болела очень сильно — эта история неожиданно вернулась. Спустившись, я подумал: мне нужно вернуться в йогу, но уже другую. Не ту, где каждый предел — вызов. **Не побеждать тело. Слышать его. Не становиться сталью. Становиться водой.**

Именно тогда прежнее стихотворение показало мне человека, которым я когда-то был. Весь его словарь построен на преодолении: пуля, сталь, битва, акула. Это язык того, кто не просто хочет жить — он впивается в жизнь зубами, считает голод доказательством молодости, а остановку — старостью. Мне до сих пор близка эта энергия, и я не считаю того человека неправильным — ему действительно нужна была сила после всего пережитого.

Но сегодня я иначе читаю строку «Воля слепо ведёт к победе». Тогда слепота воли казалась достоинством. Теперь я спрашиваю: а видит ли она вообще, куда ведёт? **Можно победить собственное тело настолько, что оно перестанет позволять тебе двигаться.** А образ долины между двумя горами — тогда укрытие, чтобы спрятать битву внутри, — сегодня я читаю иначе: долина ещё и русло, по которому течёт вода. Между двумя мирами не обязательно строить укрепление, можно искать течение, которое их

соединяет.

Я долго путал силу с постоянным усилием. Но сила может проявляться и в способности остановиться до травмы, не доказывать, не ускоряться. Вода мягкая — но именно она меняет форму камня. Не одним ударом. Присутствием. «Вечный дух» остался текстом человека, который хотел быть сталью. Сегодня его читает человек, который учится быть водой. Одно не отменяет другого — сталь всё ещё нужна, просто не должна быть единственным материалом, из которого построена жизнь. **Вечность духа теперь видится мне не в бесконечной способности воевать, а в способности менять форму и всё же оставаться собой.**

— — —

Вечный дух

Голова как пчелиный улей,
Сердце — в клетке грудной птица.
Ей бы скорость летящей пули,
Той, что выпустил разум — убийца.

Рычаги мои руки устали,
Ноги дальше идут по привычке.
Нервы — щит нержавеющей стали,
Закалённый в стотысячной стычке.

Битве между двумя мирами —
Тем, моим, и другим, снаружи.

Я — долина, что между горами.
Не хочу быть никем обнаружен.

Желваками играют скулы.
Воля слепо ведёт к победе.
В жизнь впиваюсь зубами акулы,
Забывая совсем об обеде.

Утолить не способен я голод,
День за днём выедающий душу.
Пока чувствую это — я молод.
Постарею — причалю к суше.

Пусть стираются годы о тело,
Усложнив покорение пространства.
Дух мой вечен и просится в дело.
В целом — блага и чуть-чуть хулиганства.

— — —

— «Воля слепо ведёт к победе», — прочитал я. — Куда именно она тебя ведёт?

— Вперёд, к цели, — ответил он.

— А если впереди обрыв?

Он помолчал.

— Значит, нужно смотреть под ноги.

— Тогда она уже не слепая. Долго я собирался придираться к одному слову — несколько лет. Теперь слепота воли не кажется мне достоинством.

— Потому что стал трусливее?

— Осторожнее. Что с тобой вообще произошло, спросишь ты. Многое. Ты повредишь спину — появится грыжа, тебе предложат операцию, ты откажешься и решишь вырастить мышечный корсет. И йогу, о которой мечтал, оставишь — не сразу, но оставишь.

— Значит, травма всё разрушит?

— Нет. Изменит направление — в воду. Плавание станет частью жизни: тренировками, техникой, дыханием.

— Значит, травма была нужна?

— То, что после боли появилось что-то ценное, не доказывает, что боль специально была тебе послана. Я не хочу назначать высший смысл каждому несчастью задним числом — слишком легко тогда сказать пострадавшему: «радуйся, это тебя научит». А кого-то это просто разрушает.

Он посмотрел на свои руки.

— В стихотворении тело просто стирается годами. Разве я о нём не забочусь? Занимаюсь йогой, становлюсь сильнее.

— Ты заставляешь его становиться сильнее. Забота спрашивает, что телу сейчас нужно. Достигаторство уже знает ответ: ещё одна нагрузка.

— Ты стал мягким.

— Учусь. Мягкость покоряет медленнее, но и камень меняет вода — не одним ударом, а

присутствием.

Он перечитал вторую строфу — про нервы-щит нержавеющей стали.

— Щит защищает.

— И изолирует. Не ранит — и не касается. Сейчас я думаю, что щит невозможно поднять только против боли — он перекрывает всё, включая то, что требует уязвимости.

— Но сталь нужна.

— Конечно. Я не предлагаю стать лужей. Я предлагаю быть водой — не считать, что единственный способ движения — пробить препятствие. Можно найти трещину, изменить форму, отступить и вернуться.

— Это звучит как трусость.

— Для человека-пули всё, что не летит прямо, выглядит трусостью. А разум-убийца, которого ты выпускаешь в первой строфе, — это ведь ты сам, убивающий в себе то, что не укладывалось в систему: слабость, сомнение, страх.

— Мы это уже проходили в «Тюрьме».

— Ты ожидал, что после одного стихотворения вопрос исчезнет?

Он дочитал до третьей строфы — про долину между горами.

— Тогда это было укрытие, — сказал я. — Сейчас для меня — русло. Между горами течёт вода.

— В стихотворении её нет.

— Теперь есть. Я читаю тебя спустя годы — и вижу что хочу, как и любой читатель. Текст уже шире воспоминания.

Он помолчал.

— Я не хотел быть никем обнаружен, потому что снаружи было небезопасно.

— А постоянное укрытие само становится тюрьмой. Твои тексты разговаривают друг с другом.

Он дошёл до акулы — «в жизнь впиваюсь зубами акулы».

— Зачем тебе впиваться в жизнь?

— Чтобы она не ушла.

— Жизнь не пытается от тебя убежать.

— Ещё как. Дни проходят, люди уходят, тело стареет.

— Тогда нужно проживать, а не сжимать зубы сильнее. В акуле есть картинка победителя. А жизнь, в которую всё время впиваются, однажды начинает напоминать добычу.

— А что она тогда?

— Среда. Как вода.

Он усмехнулся.

— Ты всё сводишь к плаванию. Почему я забываю об обеде?

— Потому что голод для тебя важнее еды. Ты привык жить через нехватку — а она не позволяет насытиться. «Утолить не способен я голод, день за

днём выедающий душу». Пока чувствуешь голод — молод. А если насытился?

— Постарел.

— Или просто поел. Иногда обычный обед полезнее красивой концепции молодости.

— Ты сейчас не забываешь о теле ради идеи?

Я вспомнил тренировки, поход, больную спину, сорок километров, пройденных молча.

— Всё ещё забываю. Зато честно об этом говорю.

Он посмотрел на строку про сушу.

— Тогда остановка казалась мне смертью.

— А причал — тоже часть путешествия. Там восстанавливаются, рассматривают карту, чинят судно. Ты просто ещё не умел отличать покой от застоя: в покое возвращаются силы, в застое — исчезает интерес. А если силы не возвращаются — нужен не призыв к борьбе, а помощь: врач, отдых, разговор. Не всякую остановку побеждают волей.

Он дочитал финал — «дух мой вечен и просится в дело».

— Это я по-прежнему люблю, — сказал он.

— Я тоже. Почти всё осталось — просто добавились другие способы жить. На Ринджани спина болела четыре дня, и я всё-таки дошёл. Воля привела к победе. Но по дороге я почти не слушал тело — а через день после спуска понял, что хочу вернуться в йогу мягче.

— Если бы я тогда был мягче, написал бы это стихотворение?

— Возможно, нет. Хорошо, что ты был живым и писал честно. Но не всё, что однажды помогло, должно сопровождать тебя вечно. Достигаторство привело тебя во многие важные места — на вершины и в травмы, в музыку и в истощение, в плавание через боль. Вопрос не в том, чтобы объявить его врагом, а в том, чтобы перестать отдавать ему всё управление.

— Кто тогда будет управлять?

— Иногда дисциплина, иногда любопытство, иногда тело, иногда любовь. Слишком много начальников — значит, больше не нужен диктатор.

— А чуть-чуть хулиганства оставим?

— Обязательно. Даже в мягкой йоге — просто нужно учиться не соревноваться с ковриком.

Он рассмеялся, потом спросил серьёзнее:

— Ты правда вернёшься в йогу?

— Постараюсь. Хочу сначала понять, какая практика мне нужна — не та, где не больно, и не та, где легко. А та, после которой я становлюсь внимательнее к себе, а не горжусь тем, насколько хорошо себя преодолел.

Он долго молчал.

— Ты изменился. Стал слабее?

Я посмотрел на него — на сжатые челюсти, на нержавеющий щит, на сердце-птицу в клетке.

— Надеюсь, что нет. Просто менее однозначным.

— Это не звучит как достижение.

— Именно поэтому, возможно, оно настоящее.

Он снова прочитал название.

— «Вечный дух» — даже если ты больше не хочешь вечно бороться?

— Дух может быть вечным не потому, что никогда не останавливается, а потому что способен становиться другим и не исчезать. Пулей. Сталью. Акулой. А теперь, возможно, водой.

Он посмотрел вниз, где между горами едва блестел ручей.

— Вода тоже просится в дело.

— Всегда. Просто не обязательно называть каждое её движение битвой.

Он улыбнулся, разжал зубы — и впервые не попытался покорить пространство. Мы посидели на камне ещё немного. Внизу текла вода. Она никуда не торопилась. И всё же продолжала путь.

ГЛАВА 24

Наши любимые

Иногда всю жизнь кажется, что себя ещё только предстоит найти — будто настоящий ты находится где-то впереди, после следующего решения, после того как разберёшься с прошлым и наконец станешь тем, кем должен был быть изначально. Но постепенно возникает другое ощущение: **себя не находят один раз. Себя вспоминают, собирают, теряют и снова узнают** — иногда по совершенно неожиданным признакам.

«Наши любимые» может показаться обращением к другому человеку — к любимому, другу, брату. Но речь здесь не о ком-то извне. Это разговор с внутренним другом — с теми частями меня, которые появлялись, исчезали и спустя годы снова напоминали о себе.

Меня занимала мысль, что человек приходит в эту жизнь не совсем пустым — что внутри уже есть опыт, происхождение которого он не может объяснить. Почему кого-то необъяснимо тянет к музыке, хотя в семье никто не играл? Почему новое занятие иногда даётся так, будто тело уже знает движение? Можно объяснить это наследственностью и случайностью. А можно допустить, что через жизнь проходят едва уловимые склонности — то, что в человеке узнаёт раньше, чем разум успевает объяснить. Отсюда и желание абсолютной тишины в первой строфе —

не просто спрятаться от шума, а затихнуть настолько, чтобы услышать мысль, которая не принадлежит повседневному сознанию. Такой собеседник редко говорит полными предложениями. Он отвечает телом, внезапной лёгкостью, ощущением, что впервые увиденное место почему-то знакомо.

Но внутренний рассказчик тоже способен лукавить — не всегда сознательно: память вообще редко передаёт событие буквально, она перестраивает его, чтобы человек мог его вынести сегодня. Это происходило много раз во время работы над этой книгой: я начинал рассказывать одну версию, потом вспоминал деталь и понимал, что рассказ был лишь первым слоем.

Строка «мы как будто вне той системы, надуманной миром» — это попытка на время выйти из готовой системы координат: кто ты обязан быть, что развивать, а что считать несерьёзным увлечением. Внутренний друг возвращает другую систему — не обязательно более правильную, но мою: ту, где тяга к музыке важнее её пользы, где гора нужна не ради фотографии с вершины.

Центр стихотворения для меня — строка «наша встреча важнее всего». Не потому, что остальное не имеет значения, а потому, что без этой встречи любое приобретение может оказаться чужим. **Можно построить успешную жизнь и в восемьдесят лет понять, что большую её**

часть проживал человек, которого ты почти не знал. Именно этого я боюсь — не старости самой по себе, а того, что встреча с собой так и не произойдёт.

«Друг» здесь — не одна неизменная сущность. За годы во мне появлялись разные части: достигатор, спасатель, праведник, бунтарь, человек-пуля, человек-вода. Каждый в свой момент говорил моим голосом и утверждал: «вот настоящий ты». Но ни один не оказался мной целиком — поэтому его приходится собирать из частиц, и слово «наказание» в этой строфе теперь кажется мне особенно точным: сборка идёт не через озарение в горах, а через неприятные воспоминания, через то, за что стыдно, через понимание, что любимая история о себе не совсем правдива.

А строка «я тебя разыщу всегда — это уверенность, не надежда» и сейчас одно из моих любимых мест: здесь нет сомнения, есть уверенность, что в каком бы теле, в какой бы роли ни пришлось пройти, что-то внутри всё равно узнает направление. **Собой не становятся один раз. Себя постепенно вспоминают. И каждая новая встреча не завершает поиск — она лишь возвращает ещё одну частицу.**

— — —

Наши любимые

Ах, как хочется тишины
И вообще ни единого звука,
Чтобы за толщиною стены
Я почувствовал мысли друга.

Как же хочется утонуть
В водопаде его историй.
Да, слукавит где-то чуть-чуть,
Улыбнувшись, поправится вскоре.

Без помех на одной волне
Бороздим по просторам эфира.
Мы как будто с тобою вне
Той системы, надуманной миром.

Наша встреча важнее всего —
Мы терялись в мирах, и казалось:
Как же дальше я без него
Встречу с радостью долгую старость?

Мне не нужно от тысячи лиц
Тысяч слов и поспешных признаний.
Собираю тебя из частиц —
Вот такое моё наказание.

По Вселенной туда-сюда,
Примеряя тела как одежду,
Я тебя разыщу всегда —
Это уверенность, не надежда.

Длинный путь разделить пополам
Может только взаимность желания.

И не нужно идти по горам —
Мы живём в глубине подсознания.

Обратившись к нему, тотчас
Я тебя, милый друг, услышу.
Все любимые там, внутри нас,
Не за звёздами — чуточку ближе.

— — —

— Кто такие «наши любимые»? — спросил я, перечитав название.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Сначала я думал, что это люди — семья, друзья, те, кого потерял. А теперь думаю, что ты пишешь о себе. Точнее, о нас — их здесь больше, чем двое.

— Сколько?

— Не знаю. Сам увидишь.

Он перечитал первую строфу.

— Мне нужна была полная тишина, чтобы услышать мысль друга. Не голос — он не говорит словами. Иногда просто знаешь: надо пойти туда, взять инструмент, остановиться.

— И ты всегда слушаешь?

— Конечно нет. Рядом ещё много голосов — страх, лень, желание понравиться.

— Как понять, где друг?

— Не знаю. Иногда после его подсказки чувствую себя собой. Но иногда — и после остальных тоже.

— Значит, критерий не работает.

Он нахмурился.

— Ты всё портишь.

— Пытаюсь понять. Не всё нужно понимать, — сказал я за него, и он невольно улыбнулся.

— Хорошо. Наверное, он не всегда прав. Но настоящий — не придуман, чтобы соответствовать чужому ожиданию.

— А если он соответствует твоей красивой истории о себе?

— Тогда слукавит. И поправится — если я услышу. А если нет, через несколько лет перечитаю стихотворение и пойму.

— Это уже происходило, — сказал я. — Много раз. Получается, друг меняется?

— Может, не он. Может, тот, кто его слушает.

Он посмотрел на пятую строфу.

— «Собираю тебя из частиц» — это наказание, потому что некоторые части не хочется поднимать. Стыдно. Больно.

— Можно их оставить?

— Можно. Но тогда будешь спотыкаться, не понимая обо что. — Он усмехнулся. — Опять батискаф. Тюрьма. Мы постоянно возвращаемся к одному.

— Потому что человек не состоит из отдельных стихотворений, — сказал я. — Он живёт в одной внутренней системе.

— А предыдущие воплощения тоже там?

— Ты веришь, что да. Я — не знаю. Но эта мысль позволяла тебе внимательнее относиться к необъяснимым склонностям, не считать их ерундой только потому, что не знаешь происхождения. Музыка всё равно важна — независимо от того, играл ли ты на инструменте в прошлой жизни.

Он посмотрел на строфу про систему, надуманную миром.

— Хотел создать собственную систему координат.

— И она тоже может оказаться надуманной. Есть множество систем — выбирай ту, что помогает жить честнее и не разрушать других.

Он помолчал.

— «Наша встреча важнее всего» — ты согласен?

— Почти. Встреча с собой очень важна, но ей нельзя оправдывать нежелание видеть остальных. Не «главное — быть верным себе» вместо людей рядом. А встретиться с собой, чтобы появиться в отношениях настоящим.

Он перечитал: «как же дальше я без него встречу с радостью долгую старость».

— Ты боялся прожить жизнь, так и не найдя себя.

— До сих пор боюсь. Я больше не думаю, что встреча происходит один раз: сегодня находишь одну часть, завтра теряешь связь, потом возвращаешься. И так всю жизнь.

— В отличие от брата? — усмехнулся он. — Там тоже был друг снаружи. И не услышал.

— Да. А внутренний иногда молчит дольше всех — потому что ты много лет его перебивал.

Он опустил глаза.

— А сейчас умею дослушать, — сказал я. — Благодаря терапии, стихам, плаванию, тишине. И горам — хотя сам написал, что идти по ним не нужно.

— Тогда почему почти всё важное пишешь там?

— Потому что на горе меньше шума. Она не даёт ответ — она освобождает пространство.

Он посмотрел на строку «я тебя разыщу всегда — это уверенность, не надежда».

— Тебе нравится эта строка?

— Очень. В ней нет требования немедленного результата. Ты допускаешь, что потеряешь себя снова, но не допускаешь, что потеря окончательна.

— Значит, что бы ни случилось, я вернусь?

— Возможно. Это твоя уверенность — я не хочу её забирать, но и не могу выдать гарантию от своего имени. Верю в то, что возвращение возможно, пока человек способен заметить, что потерялся.

Он перешёл к седьмой строфе — про взаимность желания.

— Даже с собой нужна взаимность?

— Одна часть хочет найти. Другая боится быть найденной — потому что тогда придётся признать, что выбранная жизнь не твоя, что образ хорошего человека построен на подавлении злости. Внутренний друг прячется ради безопасности. Его не вытащить — можно только создать место, где он сможет появиться, и не наказывать себя сразу за услышанное.

— А если скажет что-то ужасное?

— Выслушать. Не значит подчиниться.

Он улыбнулся, потом посмотрел на финал.

— «Все любимые там, внутри нас» — можно прочитать шире. Люди, которых любили, тоже остаются внутри — их голоса, способы смотреть, даже если они ушли.

— Но я писал не об этом, — возразил он.

— Знаю. Просто текст уже умеет больше одного. Твоя дверь остаётся, она не обязана быть единственной.

Он посмотрел на название.

— «Наши любимые» — даже те, кого я больше не люблю?

— Иногда именно они занимают больше всего места. Не обязательно их выгонять — можно изменить расстояние.

— А кто из моих внутренних «я» твой любимый?

Я посмотрел на него.

— Тот, кто способен остановиться и сказать: «нет, сейчас я соврал» — без него мы бы написали красивую, но не совсем честную книгу. И тот, кто написал это стихотворение на горе.

— Почему он?

— Потому что здесь ты не пытаешься никого спасти, не обвиняешь, не учишь. Просто хочешь услышать себя.

— И услышал?

— Похоже, только сейчас начинаю.

Он придвинулся ближе.

— Я всё это время был здесь.

— Знаю.

— Нет. Не знал — иначе не искал бы по всей Вселенной.

Я улыбнулся.

— Возможно, мне нужна была Вселенная, чтобы однажды понять расстояние. Совсем небольшое.

Он кивнул. Мы замолчали. На горе было тихо — не абсолютно: шевелилась трава, дышал ветер, внизу жил город. Но впервые мне не хотелось убрать все звуки. Среди них я всё равно слышал мысль друга. Она не сообщала ничего великого. Просто напоминала: «Я здесь».

ГЛАВА 25

Сон

В какой-то момент я почувствовал, что в языке стало больше пространства. До этого стихотворение собиралось вокруг строгой конструкции: рифма, размер, мысль, доведённая до конца в пределах заданной формы. Постепенно это начало меняться — мы уже жили во Вьетнаме, я больше читал других авторов и особенно сильно попал под влияние Веры Полозковой: её длинных строк, рифм, которые не обязаны появляться в назначенном месте, возможности растянуть строку настолько, насколько требует дыхание.

Меня почти оглушило ощущение свободы: язык не обязан быть тесной коробкой, в нём можно склеивать музыку, религию, юмор и внезапную серьёзность внутри одной строки. **Можно закончить мысль там, где она закончилась, а не там, где закончился размер.** Для меня это было не просто новым приёмом — я нашёл свободу в языке. До этого искал её во внешней жизни, в переездах. А тут вдруг оказалось, что пространство можно расширить прямо внутри текста.

Именно в этой размашистости появилось «Ежесекундный сон с открытыми глазами» — стихотворение, которое начинается с образа слезы как линзы. Она не принадлежит одной эмоции: не сказано, плачет человек от горя или от радости —

это должен решить читающий. Линза нейтральна, она лишь усиливает то, что уже перед человеком: через страх мир кажется опаснее, через радость — щедрее, и в моменте невозможно вспомнить, что перед глазами вообще есть линза. **В этом и заключается ежесекундный сон с открытыми глазами: человек вроде бы бодрствует, но видит не вещи, а картинку, преломлённую собственным состоянием.**

Дальше идёт почти демонстративное перечисление того, что якобы способно разбудить: музыка, поза лотоса, апельсиновый сок, Морфеус, Шива, Карцев, Гальцев — духовная практика сталкивается с эстрадным юмором, высокое не отменяет низкое. Но ни одно из этого не пробуждает окончательно. Нет волшебной позы, книги, учителя, Бога в удобном обличии. Каждая вещь может помочь — встряхнуть, дать язык, показать дверь. Но пройти через неё придётся самому. Постепенно это стало одной из повторяющихся мыслей моего письма: нет волшебной страны, волшебной любви, волшебной религии. **Человек сам становится собственной таблеткой** — не в смысле полной автономии, нам всё ещё нужны другие, но ничто внешнее не разбудит того, кто сам держится за сон.

Строка про примус пришла из очередного перечитывания «Мастера и Маргариты» — на этот раз особенно проявилась религиозная тема: общество, где прежняя религиозная форма разрушена, но потребность в вере не исчезла. И

здесь стихотворение становится откровенно саркастическим: «этот опиум совсем не прёт на смех... не забудь сыпнуть монет у входа». Это не выпад против веры как таковой — меня раздражала показная религиозность, система, где живое переживание заменяется формой. Я тогда пытался верить по-разному, обращался то к одной традиции, то к другой, и каждый раз оставалось ощущение: что-то не то. Мне не удавалось найти Бога, которому можно следовать, не предавая собственный внутренний голос.

Дальше герой закрывается — «чтоб вжиться в новый образ недотроги», куда не полезут даже боги. Если ни одна система не дала ответа, проще объявить себя человеком, которому ответы вообще не нужны. Но внутри всё равно накапливается тоска по голосу рассудка — не по ещё одному проповеднику, а по собственному голосу, слышному сквозь сон. И финал возвращает к началу: «стереть слезу и наконец проснуться». Это не значит увидеть абсолютно объективный мир — такого взгляда у нас, скорее всего, вообще нет. Но хотя бы на секунду заметить: между мной и реальностью находилось моё состояние. **Проснуться — значит перестать ждать, что пробуждение совершит кто-то другой.**

Здесь появился и ещё один поворот: свобода языка стала частью смысла. Я больше не только писал о выходе из систем — я начал выходить из системы прямо внутри строки. Форма перестала быть клеткой для мысли и стала движением самой

мысли.

— — —

Ежесекундный сон с открытыми глазами

Ежесекундный сон с открытыми глазами —
Картинка, преломлённая прозрачными слезами…
И в ней всё кажется таким большим и необъятным…
И будто бы легко — но чаще, если честно, непонятно…

И путь длиною в запутанный клубок,
Надеюсь, приведёт в укромный уголок,
Где звуки струн уймут пульсирующий корпус:
Шансон, вокальный унисон, фолк, рэп-н-рок —
какой угодно опус.

Ни поза-лотос, комара укус, ни оранж-джус,
Ни даже темнокожий друг Киану — Морфеус,
Ничто не сможет пробудить уставший организм.
Ни даже всемогущий Шива-органист

Шестью волшебными кистями, в тридцать пальцев,
Ни Карцев и не «обалдевший» Юра Гальцев.
Все спят вокруг… ну или починяют примус…
По воскресеньям только их зовёт к себе Иисус.

Ну как зовёт — скорей непринуждённо приглашает

Через всезнающих церковных глашатаев,
Готовых и способных успокоить вся и всех…
Вот только этот опиум совсем не прёт на смех.

Нет даже микроощущения прихода.
Иди и не забудь сыпнуть монет у входа.
И пусть пребудет вечно свет в тебе Господен.
За неуплату выключить, я слышал, могут вроде.

И всё… Тогда темно идти вперёд, ни зги не видя,
Себя и всех, а главное — Верхнего тихонько ненавидя,
Закрыться, не впуская никого в свои чертоги,
Чтоб вжиться в новый образ недотроги,

Одинокого бродяги, чтобы даже боги
Не вздумали полезть с тобою в передряги.
Истосковаться, жаждать голоса рассудка,
Услышать зов сквозь сон довольно чуткий.

Открыть глаза, тихонько улыбнуться.
Стереть слезу и наконец проснуться.

— — —

— Ежесекундный сон — значит, человек не понимает, что спит? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Если понимает, это уже почти пробуждение. Снится ему реальность — просто он видит её через себя.

— А как ещё смотреть?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Но иногда можно заметить линзу — слезу.

— От чего она?

— Решай сам.

— Удобная позиция автора, — нахмурился я.

— А ты хотел, чтобы я объяснил всё заранее? Я и сам не всегда знал. Сначала приходит образ, объяснение появляется через годы.

— Слеза — линза, она увеличивает всё? И страх, и радость?

— Да.

— Тогда почему человек не может просто выбрать радость?

— Потому что эмоции не переключаются как кассеты. Психика сложнее магнитофона. Хотя иногда линза показывает важное — страх может заметить реальную опасность, — и одновременно увеличивает её сверх меры.

— Как отличить?

— Проверять, — усмехнулся он. — Опять тестировщик, а мы ещё не дошли до этой работы по времени.

— Но ты уже оттуда разговариваешь, — согласился я.

Он снова прочитал длинные строки.

— Тебе не кажется, что здесь слишком размашисто?

— В этом и смысл. Раньше я боялся потерять форму. Здесь — нашёл другую. Полозкова показала, что строка может закончиться там, где заканчивается дыхание. Рифма может прийти позже, размер — покачнуться.

— И это всё ещё стихотворение?

— Конечно. Вопрос не в отсутствии правил, а в том, удерживает ли текст внутреннее движение. Иначе свобода превращается в случайность.

Он посмотрел на список — Шиву, Морфеуса, Карцева, Гальцева, примус, Иисуса.

— Почти культурный суп.

— Впервые ты позволяешь ассоциациям появляться без пропуска на входе. Раньше каждая должна была доказать, что соответствует высокой теме.

— А она есть?

— Есть. Просто больше не боится соседства с комаром и апельсиновым соком.

Он рассмеялся, потом снова стал серьёзным.

— Ничто не разбудило организм — почему?

— Потому что он устал от поиска волшебного способа проснуться. Музыка, йога, книга, другой человек — каждое помогает, но ни одно не сделает всю работу за тебя. Дверь можно показать. Ногу придётся переставить самому.

Он вернулся к примусу.

— Снова Булгаков. Я опять перечитывал — и снова увидел другую книгу.

— Потому что меняется не книга. Читатель. Это бабушка говорила.

— И здесь я увидел религию — переход от старого мира к новому, разрушение прежней формы.

— А Иисус остался — по воскресеньям.

Он усмехнулся, потом посерьёзнел.

— Тебе не кажется, что я прохожусь слишком зло?

— Кажется. Но не нужно смягчять — тогда это было твоё настоящее отношение. Свобода выражения не освобождает от ответственности, только ты здесь критикуешь систему и своё восприятие её, а не утверждаешь, что любой верующий глуп.

— А если человеку церковь действительно помогает?

— Тогда твой опыт её не отменяет. Это не универсальный доклад, а твой взгляд в тот момент. Сейчас я бы осторожнее разделял веру и институт: за одной и той же монетой у входа могут стоять совершенно разные внутренние события. Кто-то бросает её по привычке, кто-то из благодарности, а кто-то действительно молится.

— Ты стал менее верующим?

— Скорее менее уверенным в любых готовых описаниях.

Он перешёл к чертогам, куда не впускают даже богов.

— Почему человек закрывается?

— Потому что не получил ответа — ни от Бога, ни от людей, ни от систем. И создаёт образ, в котором одиночество выглядит выбором. Хотя часто это была защита. Если одиночество даёт силы возвращаться к людям — это уединение. Если убеждает, что никто не нужен — это уже крепость.

— Значит, даже пробуждения можно бояться?

— Очень. После него трудно продолжать привычный сон.

Он посмотрел на финал.

— «Истосковаться, жаждать голоса рассудка» — не Бога, не души. Почему?

— Потому что слишком много всего уже разговаривало. Нужен был голос, который хоть немного соберёт картину. Хотя сейчас я и рассудку не доверяю полностью — он тоже умеет служить любой истории, которую человек хочет доказать. Слушаю несколько голосов: разум, тело, чувства.

— И кто решает?

— Ты. Это не меняется.

Он прочитал последнюю строку.

— «Стереть слезу и наконец проснуться» — хорошо замыкается. Начало и конец держат весь этот разбросанный путь.

— А что появляется, когда я её стираю?

— Не объективная истина. За одной слезой может оказаться другая.

— Бесконечное пробуждение?

— Похоже. Просто в каждый конкретный момент снятие одной линзы ощущается окончательным.

Он помолчал.

— Ты говорил, что здесь я нашёл свободу в языке. А в жизни?

— Частично. Текст безопаснее реальности — в нём можно нарушить правило и посмотреть, что будет. Ты учился не заканчивать строку там, где от тебя ждут. Потом начал делать то же самое с решениями.

— Форма изменила меня, или я изменил форму?

— Не знаю. Пусть будет одновременно.

Он снова пробежал глазами стихотворение.

— Здесь слишком много всего — серьёзность и шутка, Бог и Гальцев, страх и радость в одной слезе.

— Именно это здесь и важно.

— А что для тебя сейчас означает проснуться?

Я задумался.

— Заметить, какую историю я сейчас считаю единственной реальностью. Что меня не уважают. Что я обязан всем помочь. Что если остановлюсь — ничего не добьюсь.

— И она исчезает?

— Нет. Но появляется расстояние между мной и мыслью.

— И что делать с этим расстоянием?

— Иногда ничего. Просто не реагировать в ту же секунду. Пробуждение выглядит гораздо прозаичнее, чем в стихах — иногда это просто не отправленное в ярости сообщение.

Он разочарованно вздохнул.

— А я представлял что-то великое. И Шива не помог?

— Нет. Помог заметить, что ты спишь, — а разбудил себя ты сам.

— Сам себе таблетка?

— Частично. Никто не просыпается полностью один — но последнее движение происходит внутри.

— Тогда зачем книга?

— Чтобы читатель заметил собственную слезу. Даже если увидит совсем другое — тем лучше. Может найти то, чего ты не мог ему дать.

— Значит, автор не нужен?

— Нужен, чтобы оставить след. Не обязательно указатель.

Он снова посмотрел на длинные строки.

— Я всё-таки хорошо написал.

— Очень живо. Хотя здесь ещё много молодого желания объяснить людям, что они спят — немного иронично рядом с мыслью, что человека

нельзя будить против его воли.

— Значит, сам себе противоречу.

— Ты в переходе: уже не доверяешь готовым учителям, но ещё хочешь сам стать тем, кто всё раскроет.

— А сейчас?

— Стараюсь приглашать. Не всегда получается — иногда снова объясняю слишком долго.

Он посмотрел на объём главы и рассмеялся.

— Заметно.

— Может, пора стереть слезу и закончить? — сказал я.

Он закрыл глаза. Потом медленно открыл.

— Проснулся?

— Не знаю. Вижу текст. За ним — себя.

— А ещё глубже?

Он улыбнулся.

— Не торопи. Пусть следующая линза пока останется на месте.

За окном кто-то методично сигналил в пробке. Совершенно обычный, будничный звук — и почему-то именно он вернул нас обоих в комнату.

ГЛАВА 26

Цикл

Некоторые стихотворения пишутся за один вечер. С «Циклом» всё происходило иначе — он начал писаться ещё в Польше, я сохранил первые строки в заметках Telegram и потом возвращался к ним снова и снова: пробовал продолжить, ничего не получалось, уходил.

Снаружи это выглядит как отсутствие работы. Но отсутствие новых строк не означает, что стихотворение не продолжает создаваться — иногда текст пишется всё то время, пока автор к нему не прикасается. **Автор ещё не стал человеком, способным закончить собственный текст.** «Цикл» создавался около трёх лет — не постепенным дописыванием, а несколькими подходами к закрытой двери. В последний раз я снова открыл заметку уже во Вьетнаме, и текст вдруг сложился почти целиком.

Название сначала означало круговорот человеческого существования: рождение, восторг, поиск, забвение, усталость, возвращение. Но теперь цикл видится и в истории создания самого текста — даже пустая страница была частью этого цикла.

Первая строфа — «вышли на улицу юные боги» — о повторении одного импульса на разных уровнях: человек, птица, толпа, божество. Жизнь стремится наружу, заполняет форму. Тело —

временный дворец для чего-то большего; мир — ещё один дворец. А сердце в следующей строфе бьётся как набат именно потому, что радость тоже слишком велика для тела — счастье не успокаивает, оно причиняет напряжение, как и любое сильное чувство, которое сосуд едва вмещает.

Дальше рождаются главные вопросы — «кто и зачем я?». Мне до сих пор кажется, что это один из важнейших вопросов, доступных человеку — не потому, что есть короткий ответ, а потому что сам вопрос меняет того, кто его всерьёз задаёт. Хотя сейчас я осторожнее с мыслью, что к нему непременно должен прийти каждый: кто-то может прожить жизнь, почти не формулируя его, и быть при этом честнее и живее.

Строфа про науку — эволюцию, взрыв, «Лего-конструктор» мироздания — намеренно смешивает серьёзные модели происхождения мира с почти детской картинкой. **Мы строим красивые упаковки для пустоты, которую не способны вынести без формы.** И тут же рядом — страх разбитого корыта из сказки о рыбаке и рыбке: можно годами строить систему статуса и денег, а потом обнаружить себя в той же луже, откуда начинал.

Вечером уставшие боги оказываются в баре — и это не только наблюдение за другими: я тоже искал облегчение в том, что ничего не решало. В этих уставших богах я видел и старшего брата —

его тусовки и свободу, за которую расплачивались другие. Но отличие между нами не настолько велико, чтобы поставить его в стихотворение отрицательным героем, а себя оставить снаружи.

Финал — «хмурые боги идут по домам» — это не окончательный вывод, а именно замыкание круга. Но каждый круг всё-таки оставляет след: человек возвращается к старому вопросу чуть иначе, не обязательно мудрее, но с новым опытом. **Повторение может быть не наказанием, а способом обучения — заметить ситуацию раньше, не тогда, когда уже сидишь у разбитого корыта.**

— — —

Цикл

Радость заполнила тела чертоги.
Вышли на улицу юные боги.
Вышли под крышу святого дворца,
Воздвигнутого мыслью отца-мудреца.

Сердца удары, как звуки набата,
Громче, чем грозного грома раскаты.
Рвётся, желая прорваться наружу,
Спазмами бьётся о тонкую кожу.

О, сколько света и счастья мирского
Тело, увы, заковало в оковы.
Сколько любви и божественной неги
Кроют забвенья глубокие снеги.

Всё бы отдал — и бродягой по свету
В поисках жизненно важных ответов.
Кто и зачем я? Куда и откуда?
Где тот, кто нам даровал это чудо?

В каждом из нас есть Владыки крупицы.
Стая — сознание, живёт в каждой птице.
Смысл полёта — в его ощущениях,
В переполняющих жизнь мгновениях.

Много теорий рождает наука:
Дети приматов, последствие звука,
Взрыва большого распада продукты,
Круто продуманный Лего-конструктор.

Что ни придумай — всё так интересно.
Главное — массам, чтоб не было пресно.
Смысл лишь в том, что ответ и не нужен.
Страшно с разбитым корытом и в луже.

Вечером тело с усталостью в паре
Ищет свободное место на баре.
Вместо уютной и чистой постели —
Ночные: «Люблю», «Куплю», «Полетели».

Но, налетавшись, пора приземлиться —
С этим не так уж и просто смириться.
Увы, не покинуть приевшийся храм.
Хмурые боги идут по домам.

— — —

— Ты три года это писал? — спросил я, глядя на дату первой заметки.

— Около того. Но не каждый день — иногда месяцами вообще не открывал заметку.

— Тогда почему говоришь, что писал три года?

— Потому что всё это время оно не исчезало. Работа шла — только не на странице, а во мне. Возвращался, пробовал, слышал: не то.

— Внутренний друг молчал?

— Или я неправильно спрашивал. А во Вьетнаме сложилось — наверное, прожил необходимую часть пути, после которой смог написать про хмурых богов, возвращающихся домой. До этого видел только выход: радость, свет, поиск. А приземление — не умел принять.

Он перечитал первую строфу.

— Юные боги — это люди?

— Да. В каждом есть частица чего-то огромного.

— Ты уверен?

— Нет. Но мне нравится так смотреть — это даёт достоинство. Не только мудрецу на вершине, но и пьяному человеку, который снова себе врёт. Если идея верна, то и в нём есть та же крупица. Просто забыл.

— Значит, задача — вспомнить?

— Похоже. Опять «Наши любимые» — всё соединяется.

Он перешёл ко второй строфе.

— Сердце пытается вырваться из тела — от радости или от тревоги?

— Можно прочитать и так. Я имел в виду восторг: ощущение, что внутри больше жизни, чем способен удержать сосуд.

— Тело — оковы?

— Тогда казалось странным, что всё огромное нужно переживать через такую маленькую форму. Сейчас больше вижу, сколько оно всё-таки позволяет. Без кожи не было бы спазмов — и прикосновений. Без сердца — набата, и жизни.

Он дошёл до вопросов «кто и зачем я».

— Это главное?

— Тогда мне так казалось. Сейчас не уверен, что человек обязан всё время этим заниматься — можно так увлечься вопросом «кто я», что перестать быть кем-либо в конкретной жизни. Но окончательного ответа не будет, и, возможно, дело не в ответе: каждый настоящий вопрос немного меняет того, кто его задаёт.

Он прочитал строфу про птиц и Владыку.

— «Стая — сознание, живёт в каждой птице» — это научно?

— Не уверен. Может, простые правила движения каждой птицы создают сложное поведение стаи. Оба варианта интересны — что ни придумай, всё интересно. В этом ты прав, хотя наука рождает модели, чтобы объяснять наблюдаемое, а не чтобы массам не было пресно — тут ты несправедлив к

ней. Развлечение вокруг науки — уже побочный рынок.

— Но упаковки есть.

— Конечно. Любая система, включая мою сегодняшнюю осторожность, может превратиться в товар или идентичность.

Он перечитал: «страшно с разбитым корытом и в луже».

— Что именно страшно?

— Потратить жизнь на погоню, получить всё, потерять — и обнаружить, что ты никуда не ушёл.

— Может, старухе просто не хватило?

— Хорошая защита зависимости: всегда кажется, что следующий раз точно наполнит.

Он перешёл к бару.

— Люди устали и хотят выпить, услышать «люблю» — в чём проблема?

— В том, что утром никто не собирается отвечать за ночные слова. Чувство может быть настоящим и недолговечным — просто другому важно знать срок действия обещания.

— Ты тоже так делал?

— Конечно. И не жалею обо всём — не всякая ночь обязана стать уроком. Но здесь я писал о моменте, когда веселье закончилось, а пустота осталась. Тогда и появляется брат в этом образе — его тусовки, его свобода, за которую расплачивались другие. Хотя отличие между нами не так велико: я

тоже искал облегчение в том, что ничего не решает.

Он дошёл до финала.

— Почему храм приевшийся?

— Тело, обычная жизнь, форма, из которой не выскочить окончательно. В начале — святой дворец. Потом — бар. Потом — снова домой.

— И утром опять молодые боги?

— Возможно, хотя бы до того, как вспомнят вчерашнее.

Он рассмеялся, потом спросил тише:

— А если не закончится никогда — если бы «Цикл» так и остался незавершённым?

Я посмотрел на него.

— Тогда, возможно, незавершённость и была бы его окончательной формой.

— Не люблю так.

— Знаю. Тебе хочется поставить точку. Но не всякое начало обязано оправдаться концом.

— Здесь-то получилось.

— Да. Может быть, потому что ты дорос до способности не дать ответ. «Смысл лишь в том, что ответ и не нужен» — три года искал финал, а закончил тем, что финал не требуется.

— И всё равно написал последнюю строфу.

— Человек противоречив.

Он ещё раз перечитал: «хмурые боги идут по домам».

— Грустно?

— Немного. Но, возможно, снова выйдут — уже завтра, пока не вспомнят вчерашнее.

— Вот он, цикл, — усмехнулся он. — А мы сейчас где?

— Возможно, между возвращением домой и следующим выходом. Значит, есть время решить иначе.

— И что будем делать?

— Для начала не требовать от этого момента объяснить всю жизнь. Просто прожить.

Он кивнул. Впервые отсутствие продолжения не показалось нам неудачей. Мы закрыли заметку. Работа продолжалась.

ГЛАВА 27

Вдохновение

К этому времени я уже начал относиться к поэзии не как к случайному занятию — стало понятно, что писанинка останется со мной. Я больше читал других авторов и позволял себе отходить от привычной формы: переставлять слова, ломать порядок, собирать выражение так, как нужно именно сейчас.

Поэтому в стихотворении появляется нарочито странное «наполняет тебя прежне пущего» вместо «пуще прежнего». **Язык не является неподвижной конструкцией — его можно гнуть и проверять, насколько далеко он способен зайти, не потеряв смысла.**

Само вдохновение я воспринимал почти как всеобъемлющее чувство любви: тебя несёт, кажется, будто можешь дотянуться руками до неба, стоя по колено в реке забвения. Но стихотворение не только о приятной стороне слова. Красноречие можно использовать как помощь, а можно, считая, что лечишь человека, попасть точно в его больное место — отсюда «запрещённый удар по печени». Искренность ещё не гарантирует бережности: можно сказать правильную вещь человеку, который не готов её слышать.

Дальше появляется детство — не потому, что оно было беззаботным, а потому, что

воспоминание умеет сглаживать, и большинство таких ударов наносит ребёнок внутри взрослого: потребность в признании, желание показаться сильнее. Толпа, готовая всё одобрить, не помогает расти — **поддержка и бесконечное одобрение не одно и то же.**

Финал возвращает к конкретному моменту: ночь, я не сплю, в наушниках Wind of Change, и вдохновение снова приходит в гости — не как озарение, а как старый знакомый, который знает, что дверь иногда остаётся открытой. Раньше стихотворения появлялись из необходимости пережить боль. Здесь — потому что сам процесс уже стал одной из форм жизни.

— — —

Вдохновение

Наблюдали ли вы вдохновение —
Чтобы в черепе до онемения?
Чтобы будто до неба руками,
По колено в реке забвения?..

Сколько раз безнадёгой гнетущею
Тело вновь на колено опущено?
Сила, что большинством отрицаема,
Наполняет тебя прежне пущего.

Часто ли, обуздав красноречие,
Вместо словом лечить лишь увечия,
Наносил своему собеседнику

Запрещённым ударом по печени?

Много сказано чистосердечного
Так, чтоб в память врезалось навечно, но
Растворяемся в воспоминаниях
Беззаботного детства беспечного.

Сквернословием и беспардонностью
Свои мысли мы заняли полностью.
И пробелы в развитии умственном
Мы питаем толпы благосклонностью.

Ночь. Не спится. Сердцебиение.
Wind of Change. Из наушников пение.
Пробираются нотки волнения —
Снова в гости пришло вдохновение.

— — —

— «Прежне пущего», — прочитал я. — Ты специально переставил слова?

— Конечно, — улыбнулся он. — Потому что мог. Я только начал понимать, что язык позволяет гораздо больше, чем мне казалось.

— Есть же выражение «пуще прежнего».

— Знаю. Пересобрал. Стало моё — а для стихотворения этого иногда достаточно, даже если читатель решит, что я просто ошибся.

Он снова прочитал первую строфу.

— «Наблюдали ли вы вдохновение?» — а ты сам сейчас наблюдаешь?

— Да. Будто до неба можешь дотянуться — не буквально, но всё внутри становится огромным.

— Опять линза, как в «Сне»?

— Похоже. Только там была слеза, а здесь волна. Забываешь не проблемы — они просто на время перестают быть единственным содержанием головы.

— Значит, вдохновение — обезболивающее?

— Не только. Обезболивание возвращает туда же. А после вдохновения иногда приносишь что-то обратно — решение, стихотворение, другое ощущение себя.

Я перешёл к третьей строфе.

— Почему удар именно по печени?

— Грубо, телесно, сразу чувствуется. Я часто пытался лечить людей словами — не всегда потому, что они просили. Мне казалось, что это помощь. А для них иногда — удар: можно сказать правильную вещь человеку, который не готов её слышать.

— Значит, нужно молчать?

— Не всегда. Не знаю точного правила — я не стал мудрецом после одной строки про нежелающего знаний. Опять цикл.

— А доброе намерение не оправдывает?

— Нет. Человек может причинить огромную боль с самыми добрыми намерениями. Важно и то, и другое: намерение показывает, почему ты поступил, результат — что ты действительно сделал. Если результат плохой, придётся отвечать, даже если хотел хорошего.

— Ты теперь так умеешь?

— Иногда. Чаще сначала объясняю, почему не хотел обидеть. Но хотя бы стал замечать, что это не отменяет чужую боль.

Он прочитал строфу про детство.

— Оно правда было беззаботным?

— Не всегда. Просто воспоминание умеет сглаживать, и мне хотелось хотя бы такого детства внутри текста.

— Снова красивая история? Сам себе лукавишь, как внутренний друг.

— И поправляюсь спустя годы. Память работает без дедлайнов.

Он посмотрел на строфу про сквернословие.

— Похоже на меня, — усмехнулся он.

— Очень. Иногда грубое слово честнее длинной нейтральной конструкции. Но если каждую эмоцию выражать одной и той же грубостью, язык беднеет. Вопрос в том, что делает конкретное слово — здесь оно добавляет улыбку, ты не читаешь мораль, а признаёшь общую человеческую дурость и включаешь себя в неё.

— А толпа благосклонна.

— Очень полезная вещь для самолюбия. Поддержка и бесконечное одобрение — не одно и то же: если все хвалят, легко решить, что развиваться больше некуда. Нужны люди, способные не только рукоплескать.

— Как ты?

— Я тоже иногда слишком легко восхищаюсь. Стараюсь теперь различать поддержку и лесть. Не всегда получается.

Он дошёл до финала.

— Ты помнишь тот конкретный момент — ночь, Scorpions?

— Да. Лежу, музыка играет, и понимаю: начинается. Иногда строки приходят готовыми, иногда сначала только ритм — и если не встать и не записать, исчезнет.

— Что при этом чувствуешь?

— Будто кто-то пришёл. Не муза — слишком пафосно. Просто вдохновение, уже знакомое: не первое стихотворение, но, возможно, первый момент, когда я понял, что это не случайность — что буду продолжать писать.

— Ты уже решил стать поэтом?

— Нет. Скорее человеком, который пишет. Поэт звучит как звание, а писать — действие. Слово требует внутреннего разрешения, а его ещё нужно у кого-то получить — у себя, у читателей, у воображаемого совета настоящих поэтов.

— А если бы никто не прочитал?

— Хотелось бы, чтобы читали. Но, наверное, всё равно писал бы — просто потому, что иногда мысль становится настоящей только после того, как я нахожу ей форму.

— Значит, вдохновение приходит не после честности? Ты же говорил, что оно возникает, когда перестаёшь себе врать.

— Красиво сказал, но не всегда — оно приходит и к человеку, который прекрасно себе врёт. Честность важна не для того, чтобы текст появился, а для того, чтобы он выдержал встречу со мной спустя годы.

— А здесь я честен?

— Да. Ты не делаешь вид, что вдохновение превращает тебя в пророка — оно приходит среди сквернословия и ночного Scorpions, то есть среди обычной жизни. В этом и сила.

Он улыбнулся.

— Что вообще изменилось после этого стихотворения?

— Ты начал доверять письму — перестал относиться к каждой удачной строке как к случайности. И начал ощущать язык не только инструментом передачи готовой мысли: он сам стал местом, где мысль появляется. Не всегда сначала думаешь, потом записываешь — иногда переставляешь слова и обнаруживаешь смысл, которого раньше не было.

— «Прежне пущего».

— Например. Шутка тоже может открыть свободу.

Он ещё раз прочитал финал.

— «Снова в гости пришло вдохновение» — простая концовка.

— Поэтому и работает. После всех вопросов и ударов остаётся бытовая сцена: старый знакомый пришёл ночью, а ты его впустил.

— И с тех пор он приходит чаще?

— Иногда. А когда не приходит — работа всё равно продолжается. Это уже из «Цикла» — тексты разговаривают друг с другом.

— Тогда почему стихотворение названо в его честь, если оно не главное?

— Потому что в тот вечер главным было именно оно. Не всякая истина обязана быть окончательной.

В наушниках снова заиграла знакомая мелодия.

— Слышишь? — спросил он. — Пришло?

Я прислушался. Сердце билось спокойно. Никаких новых строк не появлялось.

— Пока нет.

Он улыбнулся.

— Ничего.

Мелодия доиграла до конца и оборвалась тишиной — той самой, в которой обычно и рождаются следующие строки.

ГЛАВА 28

Не стройте замков из песка

Это одно из ранних стихотворений. Оно появилось на следующий день после «Гения свободы» — того самого текста, посвящённого брату, которым он тогда искренне восхитился: ходил из стороны в сторону, перечитывал, говорил «завидую тебе, что это не я написал», и какое-то время даже хранил тот листок при себе.

Для молодого автора такая реакция должна была стать почти идеальной. Но меня это разозлило: брат услышал «Гения свободы» и совершенно не услышал того, что было ему сказано. Я писал то стихотворение с сомнением — спрашивал, не спрятана ли за его свободой пустота. А он услышал в нём восхищение собой. **Гордость вместо вопроса.**

Поэтому на следующий вечер я написал ещё одно, уже прямее — почти без надежды, что намёк будет понят там, где не понялся предыдущий.

Я видел, как брат постоянно блуждает между фантазиями, идеями, наркотиками, тусовками, разными версиями самого себя. Теперь я могу назвать это поиском. Но тогда прежде всего было видно другое: **пока он ищет себя, расплачиваются люди рядом** — семья, женщины, дети, близкие, которым его внутренние путешествия приносили совсем не поэтические последствия. Брат был способным, умным, и в нём

чувствовался большой внутренний капитал — как банковский вклад, который человек получил в начале жизни и долго расходовал, почти ничего не добавляя обратно. Каждый раз казалось, что запас ещё огромен. Но внутренний вклад тоже однажды заканчивается, если только снимать.

Вторая строфа предупреждает об иллюзиях — не потому, что фантазия бесполезна, а потому что иллюзия отличается от воображения тем, что человек начинает жить так, будто придуманное уже заменило реальное. Реальность же спрашивает: что ты действительно сделал, кому помог, за кого отвечал? И однажды уже не поможет мамина тёплая рука — не потому, что мать перестала любить, а потому что взрослого невозможно бесконечно возвращать в состояние ребёнка, которому простят всё и снова соберут разрушенное за него.

Третья строфа звучит почти парадоксально в книге, целиком построенной на размышлениях. Но речь не о мысли как таковой: можно думать, чтобы увидеть яснее, а можно — чтобы никогда не действовать, раскладывая каждое решение на тысячи версий. Так можно проумничать целую жизнь и обнаружить, что за рассуждениями не сформировался человек, способный отвечать за свои поступки.

Последняя строфа заканчивается прямым обращением: не изображать святого, не изображать грешника, не играть пророка или

непонятого художника. **Побыть человеком — со слабостью, ограничениями, необходимостью иногда делать скучное и слышать другого.**

Тогда я писал это брату. Сейчас понимаю, что большая часть обращения вернулась ко мне — я тоже строил замки из песка, тоже примерял то Господа, то дьявола собственной маленькой сцены. Но тогда, на следующий день после «Гения свободы», ничего этого не произошло: стихотворение снова осталось неуслышанным, только с другим знаком. Одно приняли за похвалу. Другое, кажется, просто пропустили мимо. **Иногда слова не меняют адресата. Но остаются ждать автора.**

— — —

Не стройте замков из песка, не стройте!

Не стройте замков из песка, не стройте!
Они растают, как весенний лёд.
И лучше на Земле вы песню пойте,
Чем отправляться мыслями в полёт.

Не уходите в мир обманчивых иллюзий.
Там, как и прежде, правит пустота.
Не избежать психологических контузий,
И не поможет мамы тёплая рука.

Не растворяйтесь в глупых размышленьях.
Они ведь не помогут, так зачем,
Пытаясь логику найти в разубежденьях,

Проумничать всю жизнь и стать никем.

Не слушайте чужих шаблонных мнений.
Попробуйте прожить хоть пару дней.
Чем дьявола иль Господа изображать на сцене —
Побудьте человеком, это ведь сложней.

— — —

— Он правда сказал, что завидует? — спросил я, вспомнив ту реакцию на «Гения свободы».

— Прямо так, — ответил он. — Сначала мне понравилось. Потом я понял, что он услышал не то, что я хотел сказать: то стихотворение сомневалось в его свободе, спрашивало, не пустота ли за ней. А он услышал похвалу — там, где для меня был вопрос, для него прозвучало зеркало, в котором он себе понравился.

— Он должен был догадаться? Ты сказал прямо?

— Нет. Хотел, чтобы он сам услышал — если сказать прямо, начнёт спорить.

— Но вместо этого восхитился собой, — заметил я. — Тогда ты написал следующее, на следующий день, уже прямее.

— И что?

Он посмотрел в сторону.

— Ничего. Просто не отреагировал так, как на «Гения свободы» — ни восторга, ни спора.

— Значит, второе осталось неуслышанным иначе, чем первое. То приняли за похвалу. Это, кажется, просто пропустили.

— Оба раза мимо, — вздохнул он. — Тогда зачем я вообще писал второе?

— Оно что-то сделало с тобой. Пока не написал, мысль могла оставаться только раздражением. Текст придал ей форму.

— Но он должен был понять хоть что-то.

— Ты всё ещё говоришь «должен». Даже близкий слышит через собственную линзу — возможно, он услышал то, что был способен услышать тогда.

— Удобно всё объяснять неспособностью, — резко ответил он. — Он постоянно порол хуйню, и ни один из моих текстов его не остановил. Я имел право злиться.

— Конечно. Я не оправдываю его — просто разделяю понимание и оправдание. И потом, второе стихотворение и так прямее первого. Не помогло. Прямота — не гарантия услышанности.

Он немного успокоился.

— Поэтому оно и написано во множественном числе — «не стройте», «не уходите». Безопаснее, будто обращаешься ко всему человечеству, а не конкретно к нему.

— Но говорил-то с ним.

— Не хотел превращать стихотворение в личную претензию. Или сделал частную историю шире — одно другому не мешает.

Он перечитал первую строфу.

— Замки из песка — его фантазии: что всё как-нибудь устроится, что семья подождёт, что талант всё перекроет.

— А ты таких не строил?

— Строил. Наверное, уже тогда — писал и себе тоже, неосознанно. «Лучше на Земле вы песню пойте» — хотел вернуть его вниз. Хотя сам всю жизнь хожу по горам и мирам.

— Значит, разница между вами не абсолютная.

— Я не говорил, что абсолютная, — нахмурился он. — Но я хотя бы пытался смотреть. А он разрушал людей рядом.

— Поиск не освобождает от ответственности за то, что происходит по дороге. Можно уважать поиск и осуждать поступки.

— Тогда зачем говорить «пустота»? Я видел, куда он уходит — в иллюзии. Может, там было не пустота, а облегчение.

— Но после этого оставалась пустота — я видел результат.

— Честное наблюдение, но не полное описание его внутреннего мира, — сказал я. — Ты двадцать лет пытался его понять, объяснить, поддержать.

— И устал. Сейчас не общаюсь.

— Значит, эти стихи были первой попыткой нарисовать границу. Хотя граница на бумаге и граница в жизни — не одно и то же. Растянутые в

годах процессы.

Мы перешли к третьей строфе — про глупые размышления.

— Он любил умничать, — сказал он.

— А ты?

Он рассмеялся.

— Тоже. Но его это раздражало, потому что я не видел за словами действий. Хотя за своими тоже не всегда видел — возможно, меня раздражало знакомое.

— «Проумничать всю жизнь и стать никем» — жестоко. Ты действительно считал, что он станет никем?

— Боялся. Хотя строка звучит так, будто человек, который не достиг, — никто. Сейчас я бы сказал осторожнее: можно всю жизнь объяснять происходящее и так и не начать жить.

— Значит, ты снова пытался лечить ударом — запрещённым по печени.

— Тогда не знал, что делаю. Сейчас вижу. Стихотворение совершает то, от чего позже само предостерегает.

Он перешёл к последней строфе.

— «Не слушайте чужих шаблонных мнений» — а сам даёшь мнение.

— Не шаблонное. Для тебя, — признал он. — Тогда я искренне считал, что освобождаю его от чужих шаблонов своим взглядом. Разница небольшая,

если навязываешь.

— И последняя строка — главная просьба: «побудьте человеком».

— Перестань играть — дьявола, Господа, свободного художника, непонятого гения. Просто человек — тот, кто живёт, ошибается, отвечает, не прячется за образом.

— Ты сам таким был?

— Нет. Иногда мы раньше видим чужую проблему, — сказал он. — Теперь эта строка обращена ко мне: хорошего человека, спасателя, мудреца я тоже играл. Господа — когда решал, что знаю, как другим надо жить. Дьявола — когда объявлял свои поступки неизбежной тёмной природой. Вся сцена внутри меня, как почти всегда.

— Но ты всё равно писал брату.

— Конечно. Просто адресат со временем расширился — сначала до человечества, а надо было начать с себя.

Он усмехнулся.

— Побудь человеком — это ведь сложней. Потому что роль заранее объясняет, как себя вести, а человек каждый раз должен решать заново, без готовой маски, и может ошибиться. Господом проще — всегда знаешь истину. Дьяволом тоже — можно ни за что не отвечать: «я такой». А человеком приходится признавать противоречия: любить и злиться, помогать и уставать.

— Это про брата?

— И про меня. И про нас.

Он снова вспомнил тот, первый листок с «Гением свободы».

— Странно, что он его хранил, но не изменился.

— Любовь к тексту не равна готовности прожить его смысл. Может, видел в нём что-то своё — мы уже не узнаем.

— Я хотел, чтобы он увидел моё.

— Знаю. Хотеть — да, требовать — бесполезно. Личное обращение слышится тяжелее всего, сразу хочется защищаться. А красотой он смог восхититься — она была безопаснее смысла.

Он долго молчал.

— Значит, в «Гении свободы» я спрятал удар в красивую упаковку. И разозлился, что он похвалил упаковку, а не заметил удар.

— Очень похоже.

— Неприятное открытие.

— Зато настоящее, — сказал я. — Оба стихотворения не плохие — в них осталась твоя реальная попытка достучаться. Не идеально честная. Но живая. И последняя строка всё ещё сильная — именно потому, что её произносит не мудрец, который уже научился быть человеком, а тот, кто требует этого от другого и пока не понимает, сколько лет сам будет этому учиться.

Он снова прочитал: «побудьте человеком, это ведь сложней».

— Теперь звучит иначе. Не приговор.

— А что?

— Задача. Для всех нас.

Мы ещё немного смотрели на тот листок с «Гением свободы», который брат когда-то носил при себе. Я не знаю, что именно он в нём любил. Текст, написанный на следующий день, он, кажется, даже не заметил так, как первый. Но и первый в итоге не был услышан — просто по-другому. Двадцать лет спустя оба обращения вернулись к тому, кто их написал.

— Ну что? — спросил он. — Получилось побыть человеком?

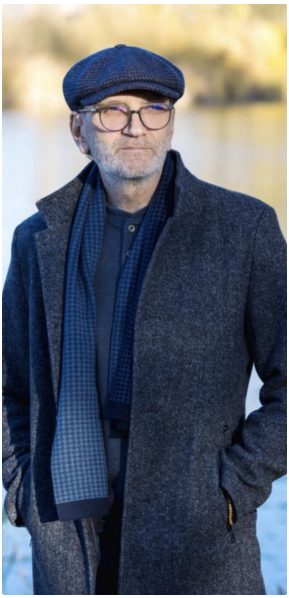
Я хотел ответить красиво. Потом передумал.

— Иногда.

Он кивнул. На этот раз этого оказалось достаточно.

ГЛАВА 29

Счастлив



Когда перечитываю это стихотворение, первым вспоминается не текст, а один день во Вьетнаме.

К тому времени вокруг меня постепенно начали появляться люди, рядом с которыми хотелось оставаться собой. Мы выбрались с палатками на берег пресного озера. Вокруг шумели джунгли, ночью не умолкавшие ни на минуту. Палатки, костёр, плавание, гитара, фрукты, долгие разговоры. Позже к нам присоединились ещё ребята — со многими из них мы общаемся до сих пор.

Именно тогда я впервые поймал себя на мысли, что начинают сбываться слова, которые когда-то написал в стихотворении «Живём вчера»: «С тобою армия друзей».

Но вместе с этим пришло и другое испытание. **Рядом с новыми людьми нужно было учиться быть настоящим.** Не пытаться всем помочь. Не стараться всех понять. Не заслуживать своё место рядом. Просто быть.

Утром я проснулся, когда лагерь уже жил своей жизнью. Кто-то разводил костёр, кто-то плавал, кто-то готовил завтрак. Варилась овсяная каша. Каждый спокойно занимался тем, что любил. Когда-то я услышал простую мысль: «Настоящий отдых — это когда каждый занимается тем, что ему действительно нравится». Наверное, именно так всё и выглядело.

В какой-то момент меня настолько переполнило чувство свободы и благодарности, что я просто сел и начал писать. **Минут через десять стихотворение уже было закончено.**

— — —

Счастлив

Восторг водой в глазах от каждой ноты.
Улыбка на щеках от каждой капли пота.
И радость от всего, что есть вокруг.
Я счастлив, СЧАСТЛИИИВ, мой сердечный друг.

Блаженство лицезреть сей жизни краски,
Блаженство отодрать приклеившиеся маски
И дать своей физиономии вздохнуть,
Направить к солнцу и свободно улыбнуть!

Не наблюдать часов и просто быть счастливым!
Из тучи дождь — спешу гулять под ливень!
Вперёд, быстрей! Я слышу сердца стук…
Я счастлив здесь, сейчас, мой верный друг.

Пусть ночь накроет землю одеялом.
Пусть день грядущий всё начнёт с начала.
Рассвет лучом коснётся сонных глаз
Маня в волшебный путь который раз.

Который раз я слышу зов Вселенной.
Такой знакомый и проникновенный.
Свободный, с верой и наполненной душой
Я счастлив, СЧАСТЛИВ ЖИТЬ, мой дорогой!

— — —

— Ты рассказал про лагерь. Но почти ничего не сказал о «сердечном друге», — заметил я.

— Потому что это уже другая история, — ответил он.

— Тогда расскажи.

— Его зовут Ави. Мы познакомились совершенно случайно ещё в Кракове. Он приехал к своему сыну Эдварду, а вместо нескольких дней они задержались почти на две недели. Всё это время

мы разговаривали.

— Чем он оказался для тебя таким особенным?

— Не тем, что чему-то меня научил. А тем, что рядом с ним можно было просто быть.

— Поэтому в стихотворении появляются маски?

— Думаю, да. Не потому, что он снимал их с меня. А потому, что рядом с некоторыми людьми они становятся ненужными.

— Значит, «мой сердечный друг» — это Ави?

— Да. Но не только.

— Тогда кто ещё?

— Любой человек, рядом с которым перестаёшь чувствовать себя одиноким.

— И это и есть счастье?

— Нет. Счастье — это когда вдруг понимаешь, что уже перестал носить маски.

Где-то в темноте ещё шумели джунгли. Костёр догорал. И на этот раз никому не нужно было ничего доказывать, чтобы остаться у огня.

ГЛАВА 30

К бабушке



Есть люди, рядом с которыми перестаёшь бороться с жизнью. Для меня таким человеком была бабушка.

Когда всё рушилось, я звонил ей и говорил всего одну фразу: «Бабуля, я скоро буду». Она жила примерно в часе езды от города, и этой дороги почти всегда хватало, чтобы начать успокаиваться. Дома меня ждала огромная кружка кофе с молоком, что-нибудь вкусное, долгие разговоры и ощущение, что мир может немного подождать.

Бабушка очень сильно повлияла на мою жизнь. Она была свободолюбивой, самостоятельной,

упёртой и принципиальной — во многом старалась воспитать во мне те качества, которых мне не успел передать отец: его нельзя назвать совершенно отсутствовавшим, но рядом он бывал гораздо реже, чем мне было нужно. **Когда становилось тяжело, когда всё рушилось и почва уходила из-под ног, я собирался и ехал к ней.** Достаточно было заранее предупредить, что скоро буду. Приезжая, я словно попадал в оазис спокойствия, где не требовалось немедленно решать проблемы, брать себя в руки и снова становиться сильным.

За несколько недель до её смерти я опять оказался у неё. Тогда развалилось дело, которым мы занимались с братом, и я остался без денег и средств к существованию. Я позвонил бабушке и сказал: «В этот раз приеду надолго». Собирал в лесу ягоды и грибы, сдавал их, чтобы накопить сначала на услуги агента по недвижимости, а потом на первый взнос за съёмную квартиру. Ситуация была далеко не самой радостной. Но теперь я вижу, как удивительно она изменила моё географическое положение и придвинула меня ближе к бабушке — словно жизнь знала, что скоро я её лишусь.

Мы провели вместе ещё две-три недели. Потом я накопил нужную сумму и уехал работать в другой город. И там узнал, что её не стало.

Помню маршрутку, в которой ехал обратно. Всё происходило будто в беспамятстве, но я отчётливо

вижу себя у окна и помню слёзы, которые текли градом. Когда я приехал, нужно было готовить могилу. Мужчины, которые должны были её копать, успели напиться и уже ни на что не были способны. Я был в светлых штанах и кофте. От злости взял лопату, выгнал их и начал копать сам. **Копал, плакал и разговаривал с бабушкой.**

Тогда я решил отказаться от никотина — к тому времени курил уже около семи лет, а она всегда мечтала, чтобы я бросил. Отказался и от алкоголя; позже один раз дал слабину, во время расставания с женой, но большую часть последующих лет не пил.

Спустя годы, уже сидя во Вьетнаме, я продолжал вспоминать бабушку, мысленно разговаривать с ней и иногда спрашивать у неё совета. Мне захотелось создать что-то, что сохранило бы не смерть и не похороны, а то тепло, которое существовало рядом с ней. Поэтому в стихотворении почти ничего не происходит — есть музыка, тёплая болтовня, кофе Pele с молоком и сахаром, пол-литровая кружка, родная печка, сон и ожидание апреля. **Я написал это стихотворение не только о бабушке. Я сохранил место, где душе когда-то было спокойно.**

— — —

К бабушке

Быть может, тебе просто все надоели,
Как скрипучие во дворе качели,
Как засыпающие глаза, метели
На мягкой, но одинокой постели…

Вот бы песню красивую спели
Под гитару или, на худой конец, под укулеле,
А потом — тёплая болтовня, и кофе Pele пили
С молоком и сахаром, и пол-литровая кружка — и всё, на самом деле,

Станет не так уж и важно. Засыпаю, и дыхание еле-еле…
Сыт и глуп, и на печку родную и тёплую, как Емеля,
Взгромоздясь, утону во сне, перепачканном в акварели…
Так и проспал бы зиму, март и, очнувшись только в апреле,

Когда ветер не колется и птицы домой прилетели…

— — —

— Почему ты написал именно об этом? — спросил я.

— Потому что боялся забыть это чувство, — ответил он.

— Не бабушку?

— Нет. Её я и так не забуду.

— Тогда что?

— Как рядом с ней становилось тихо.

— Она что-то особенное говорила?

— Не помню. Наверняка давала советы. Но сейчас я помню не слова.

— А что?

— Как можно было рядом с ней находиться.

— Почему именно к ней ты ехал каждый раз, когда становилось тяжело?

Он задумался.

— Потому что рядом с ней ничего не нужно было заслуживать.

— Даже право остаться?

— Особенно его.

— Ты написал стихотворение о бабушке?

Он покачал головой.

— Не только. Я написал стихотворение о доме.

— И где он теперь?

Он улыбнулся.

— Иногда достаточно открыть эту страницу — и снова приехать к бабушке.

ГЛАВА 31

А у неба есть руки тоже



Некоторые стихотворения начинаются не с мысли. Сначала появляется изображение.

Знакомый прислал мне фотографию: его рука с растопыренными пальцами на фоне неба. Я присмотрелся и вдруг увидел между пальцами ещё одни руки — синие, небесные. И появилась строка: «А у неба есть руки тоже».

Дальше стихотворение потекло почти само. Руки неба начали жить собственной жизнью: поддерживают человека, закрывают солнце, рисуют закат, прячут слёзы в дожде, а в конце становятся руками ангела и приводят текст к

молитве. **Метафора не остаётся неподвижной** — руки неба меняют функцию, могут быть сильными, обожжёнными, уставшими, почти человеческими, но принадлежат чему-то гораздо большему человека.

Небо сопровождает человека через всю жизнь — «от момента, как дед тянул репку, до заветных "земля тебе пухом"». Мне хотелось соединить начало и конец почти грубым скачком: между ними помещается вся жизнь, а небо остаётся над человеком всё это время. Оно задыхается вместе с людьми от дыма и смога, но терпит и не обвиняет — даёт дышать даже тем, кто делает это дыхание всё труднее. **Самое большое часто скрывается под самым привычным**: дождь идёт, облако закрывает солнце — а поэтический взгляд предлагает другую версию: возможно, кто-то сейчас прикрывает нас рукой. Забота при этом причиняет боль тому, кто заботится — небо гладит солнце облаками до ожогов, стирая ладошки, и всё равно продолжает работать.

В предпоследней строфе появляется прямая инструкция — повторение самой фотографии: поднять руку, посмотреть между пальцами, и, может быть, на фоне облака появятся крылья. А финал становится молитвой: после всего увиденного слова начинают казаться лишними, и остаётся только жест — поднять глаза, улыбнуться честно, замолчать.

У стихотворения появилась и отдельная судьба: оно прошло через несколько рук и голосов и, насколько я знаю, оказалось на «Славянском базаре» в Беларуси, где его кто-то исполнял — я сам не вёл его туда и не знаю тех, кто передавал текст дальше. **Автор сохраняет один конкретный момент. А читатели постепенно освобождают его от исходной фотографии — образ становится общим.**

— — —

А у неба есть руки тоже

А у неба есть руки тоже.
Только видеть их может не каждый.
Между пальцев, касаясь кожи,
Верит — может, заметишь однажды.

Посиневшими пальцами крепко
Держит так, чтоб не падали духом.
От момента, как дед тянул репку,
До заветных «земля тебе пухом».

Задыхаясь от дыма и смога,
Дарит радость дышать беззаветно.
И не смеет ослушаться Бога,
Слёзы пряча в дожде незаметно.

Небо солнце накроет руками —
Нам в тени отдохнуть немножко.
Будет гладить его облаками,
До ожогов стирая ладошки.

Нарисует закат и дымку,
Чтоб интимнее было влюблённым.
На рассвете сменит картинку,
Улыбаясь уставшим и сонным.

Руку вверх подними смело,
Растопырив чуть-чуть фаланги.
Ты увидишь на фоне белом —
Крылья тянет к тебе ангел.

Улыбнись первый раз честно,
В небеса устремив очи.
Говорить не совсем уместно.
Помолюсь — ты услышь, Отче.

— — —

— Ты действительно сразу увидел руки, или просто промежутки между пальцами? — спросил я, глядя на ту фотографию.

— Сначала промежутки. А потом уже невозможно было развидеть, — ответил он. — Стихотворение началось не тогда, когда я придумал метафору, а когда изображение перестало быть обычным.

— Но руки неба всё-таки придумал ты.

— Увидел. Это не одно и то же: когда придумываешь, чувствуешь, что создаёшь. А здесь было ощущение, будто заметил то, что уже находилось на фотографии — хотя другой человек мог не увидеть. Значит, образ появился не в предмете и не во мне — где-то между.

— Как с текстом и читателем.

— Именно. Знакомый прислал половину. Вторую добавил я. Третью — слушатель.

Я снова прочитал первую строку.

— «А у неба есть руки тоже» — почти детская фраза. Ты специально добавил «тоже»?

— Конечно. У людей есть руки — оказалось, у неба тоже. Хотел почувствовать с ним родство, а заодно сделать явление понятнее: человеку легче представить заботу через ладонь, чем через движение воздушных масс.

— Но тогда это превращается в красивую сказку.

— Не вижу проблемы, пока сказка не выдаёт себя за окончательное объяснение. Никто ведь не утверждает, что облака буквально чьи-то пальцы.

— А Бог здесь появляется вполне серьёзно.

Он помолчал.

— Это его образ. Тогда я, возможно, верил увереннее. Сейчас оставил бы всё как есть — даже «не смеет ослушаться Бога». Небо в этом стихотворении подчинённое: выполняет своё предназначение, как человек.

— Ты себя там тоже видел?

— В желании делать то, что должен, даже если задыхаешься от дыма. Тогда я об этом не думал — а сейчас вижу в этом риск: можно оправдать бесконечное терпение предназначением. Небо продолжает давать воздух даже тем, кто его

отравляет, и не имеет права отказаться. Для людей это удобно. Для неба — не знаю.

— Получается, это образ человека, который продолжает помогать, когда его разрушают. Спасатель.

Он улыбнулся.

— Наверное, поэт почти всегда немного пишет себя. Как и с дождём — небо прячет в нём слёзы, а я тоже часто прятал, иногда даже сам не замечал.

Я перешёл к рукам, закрывающим солнце.

— Стирает ладони до ожогов. Зачем продолжать гладить то, что причиняет боль?

— Там просто облака закрывают солнце, — нахмурился он. — Не превращай всё в психотерапию.

— Хорошо, оставим буквальную метафору. Но забота у тебя почти всегда связана с самоповреждением — совпадение интересное.

Он подумал.

— Да. Сейчас, возможно, увидел бы в этом ещё и предупреждение: если всё время закрывать собой других от солнца, однажды останешься без ладоней. А им всё равно будет жарко, когда отойдёшь.

Мы дошли до заката.

— Небо помогает влюблённым, создаёт атмосферу — ты романтик.

— Иногда. А рассвет меняет картинку, потому что сцена закончилась и улыбается уже сонным.

— Небо всё время работает. Даже ночью?

— Конечно.

— Тогда когда отдыхает?

— Возможно, когда мы не смотрим, — улыбнулся он.

— Но мы всегда где-то смотрим.

— Значит, не отдыхает. Оставь небо в покое — снова достигаторство.

Мы рассмеялись, потом я посмотрел на предпоследнюю строфу.

— Это уже инструкция к фотографии: подними руку, растопырь фаланги — и увидишь.

— Но увидит не каждый. Нужно совпадение фона, облаков, угла — и желания.

— Почему на фоне белом появились крылья?

— Там, наверное, было облако. Образ продолжил двигаться сам — я заранее не планировал, строки вели дальше.

— Но кто-то же выбирал следующую строку.

— Я. Шёл за ассоциацией: пальцы неба, ладони, облака, крылья ангела, поднятая рука, молитва. Один образ превращается в другой без полного разрыва.

— Ты хорошо это разобрал.

— А тогда просто писал. Именно поэтому потом интересно смотреть.

Я прочитал финал.

— «Улыбнись первый раз честно» — почему первый?

— Возможно, до этого были маски, как в «Счастлив». А честная улыбка появляется перед небом, потому что ему не нужно понравиться.

— А потом говорить неуместно — но ты всё равно заканчиваешь молитвой. Это тоже речь.

— Не совсем. В ней не объясняешь — обращаешься. Не просишь о чём-то конкретном, а хочешь быть услышанным — то, что словами не сказано. Иногда человек сам не знает, о чём просит. Просто поднимает глаза и надеется, что там поймут лучше него.

— Это похоже на ребёнка. И небо снова становится родительской фигурой — держит, закрывает, рисует, а Бог выше неба.

Он помолчал.

— Наверное, мне было важно, чтобы кто-то большой держал всё. Человеку вообще тяжело, если он думает, что держит всё один.

— А сейчас веришь, что не один?

— Иногда. А когда не верю — смотрю на небо.

— И видишь руки?

— Уже не всегда. Образ стал знакомым — поэзия тоже со временем перестаёт удивлять, если не

смотреть заново.

Он поднял ладонь. Между пальцами было обычное вечернее небо.

— Ничего, — сказал он.

— Подожди облако.

— А если не придёт?

— Значит, сегодня руки выглядят иначе, — усмехнулся я. — Ты научился спасать собственные метафоры.

— Приходится. А потом стихотворение попало на «Славянский базар» — насколько помню.

— Ты видел исполнение? Знаешь, кто читал?

— Точно не помню. Мне так передали.

— Тогда лучше не утверждать слишком жёстко.

— В главе и сказано: насколько я знаю. Но само чувство — удивление, гордость — было настоящим. Я даже не участвовал, и в этом было приятно: текст пошёл сам. Сначала рука на фотографии, потом моя рука записала, потом чужие руки передавали листок — и в конце он оказался в чьём-то голосе.

— Получается, стихотворение тоже обрело руки. Как ты относишься к тому, что его исполняли без тебя?

— Нормально. Хотелось бы знать подробности, но сам факт радовал. А вот если бы изменили строки — это уже не знаю. Пусть текст живёт своей жизнью, но имя автора и сами слова желательно

не переписывать без согласия.

— А читатель всё равно переписывает его внутри себя.

— Это другое — он меняет смысл для себя, а не слова для всех.

Мы снова посмотрели на начало.

— Если бы ты не записал ту фотографию?

— Через несколько дней я бы уже не помнил руки. Стихотворение спасло образ. А образ спас стихотворение.

— Как понять, что момент достоин записи?

— Никак. Записываешь то, что зацепило, а потом многое оказывается слабым. Не жалко — внимательность тренируется количеством попыток. Как мышцы, только не нужно опять доводить до грыжи.

Мы рассмеялись.

— Тогда что здесь стало главным уроком?

— Не проходить мимо второго изображения. Первый взгляд говорит: «рука на фоне неба». Второй: «между пальцами ещё одни руки». Поэзия иногда живёт во втором.

— А третий?

— Может разрушить всё объяснением. Как мы сейчас.

Он посмотрел на объём главы.

— Есть такой риск.

— Тогда, может, остановимся? Без молитвы?

Он поднял глаза.

— Она уже там. Между словами.

Мы замолчали. На этот раз небо не показывало ни пальцев, ни крыльев. Просто становилось темнее. Но после стихотворения обычным оно уже не было.